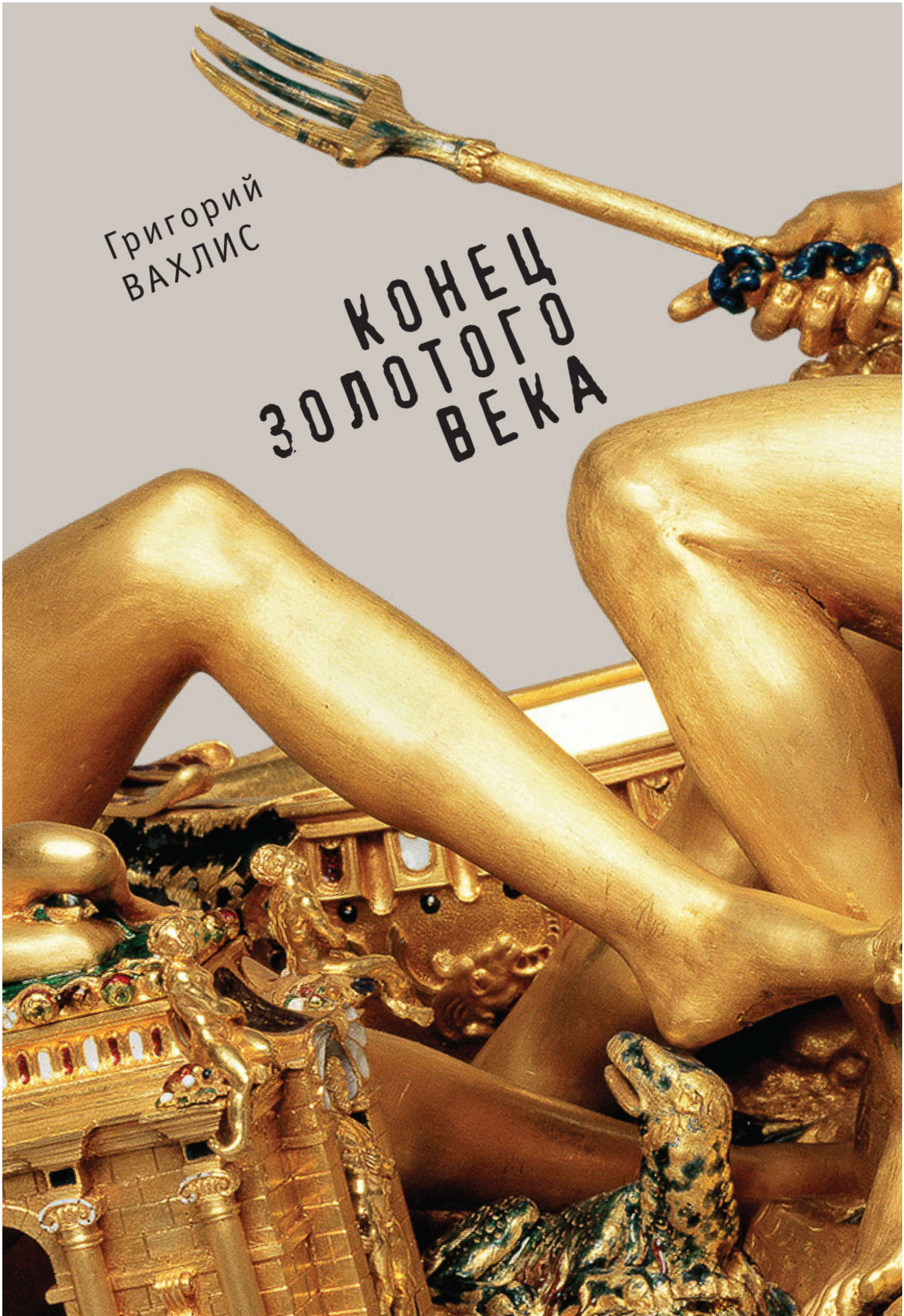


Григорий
ВАХЛИС

КОНЕЦ
ЗОЛОТОГО
ВЕКА



Григорий Вахлис
Конец золотого века

«Алетейя»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Вахлис Г.

Конец золотого века / Г. Вахлис — «Алетейя», 2017

ISBN 978-5-906980-57-1

Советский Киев 70-80-х гг. «Золотой век» художников: их живописный быт и нравы, галерея запоминающихся образов выдающихся чудаков и оригиналов, искрометный юмор помогают воссоздать ту неповторимую атмосферу «творческого горения». Изгнанный из армии израильский офицер, опустившийся на низшую ступень общественной лестницы, депрессивный семнадцатилетний школьник, распивающий в обществе инвалида, затерявшийся в Гималаях продавец спортивного инвентаря, эмигрант-космополит, профессор музыки, посетивший проездом страну своего детства, пытаются осмыслить острую жизненную ситуацию, найти выход. Кто-то при этом обретает себя, кому-то это лишь предстоит, иные такой возможности уже лишены.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906980-57-1

© Вахлис Г., 2017

© Алетейя, 2017

Содержание

Идо	5
Джой	7
De profundis	9
Клятва	13
Дети Зуси	16
Дом без дверей	18
Pro domo	21
Читая Кьеркегора	25
Adverso flumin	28
Без колес	30
Недельная практика по-бельгийски	32
Освобождение	41
Протокол	43
Незнакомка	47
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Григорий Вахлис Конец золотого века

*Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
Кто славянин молодой, грек духом, а родом германец?
Вот загадка моя: хитрый Эдип, разреши!*

А. С. Пушкин

Идо

Идо Мизрахи имел внешность ночующего на вокзале, при том, что никакого вокзала в Иерусалиме не было. Так – крошечная станция, давным-давно закрытая ввиду нерентабельности ж. д. перевозок. На станции этой Идо побывал только один раз – когда заблудился, выйдя из своего квартала. Поездом же, как и самолетом, он никогда в жизни не пользовался, соблюдая заповедь не покидать Эрец-Исраэль. Желто-розовая пыль сделала его черный лапсердак похожим на маскхалат. Белая некогда рубашка идеально воспроизводила цвет пыли – не считая угольной каемочки вокруг шеи. Черного бархата кипа выгорела до оранжевого, уже буддийского оттенка. Правая брючина была частично заправлена в носок, что выдавало привычку надевать носки после брюк. Таким я и увидел его, в естественной, так сказать, среде обитания – Меа-Шаарим... Я как раз пытался сфотографировать черную массу студентов, вываливающих из американизированной ешивы «Эц хаим» – на их фоне Идо выглядел, как подбитый дятел на фоне стаи ворон. Я подошел поближе, и он улыбнулся, как будто всю жизнь только и делал, что стоял и ждал этого момента. Жил он тут же, в соседнем переулке, в трех полупустых комнатах. (Кто их оплачивал, я так и не узнал.) Вообще-то мне тогда было не до него – я болтался по улицам, зачем-то фотографируя евреев. Сидя на пособии, я разыгрывал перед самим собой пантомиму работы... Картины я мог рисовать сидя дома, без всякого материала. Ничего не стоило намалевать пяток «приятных парикмахеров» – с пейсами, штраймлами и прочей религиозной атрибутикой. Мне уже не раз давали понять, какое выражение лица пользуется спросом, – у меня было несколько знакомых галерейщиков. Они следили, чтоб на моих картинах было все, что надо, и не дай Б-г, не появилось то, чего не надо, а мне видимо, нравилось «играть в художника», – собирать материал для будущих картин. И тут я встретил Идо.

Разумеется, Идо учился в ешиве, но к тому же еще и рисовал – масляными красками. Полы в его квартире были покрыты разноцветными пятнами, и я сразу опознал их. Картины он достал из-под кровати. Несколько портретов рабби Нахмана и пейзаж. Это был классический примитивизм – в исполнении человека, никогда в жизни не слышавшего этого слова. Пейзаж мы поставили в кухне на столе, и я хорошенько все рассмотрел.

– Умань! – пояснил Идо. Он, оказывается, видел кое-какие старые фотографии. Кроме того, в Умань ездили соученики, а потом все рассказали. Там жил рабби Нахман. Насчет рабби Нахмана я знал плохо. Помнил только, что он всю жизнь мечтал об Иерусалиме. С великим трудом добрался до Эрец-Исраэль, но вернулся назад, так и не осуществив свою мечту.

Идо, по-видимому, не был в восторге от Святого города. Во всяком случае, от того, в котором жил. Возможно он, как и положено еврею, грезил о невозможном, – о каком-то ином, «правильном» Иерусалиме... Факт пребывания в самом сердце одноименного города его нисколько не смущал. Он нарисовал не Иерусалим, даже не Умань рабби Нахмана, которая отсюда, из Меа-Шеарим, могла бы представляться Иерусалимом.

Он нарисовал свое: темную ночь, кривые домики – розоватые и голубоватые, на горбатой черной улице. Один домик был совсем маленький, и в нем сидела курица. Курица спала. Глаз, осененный печальными ресницами, был закрыт. Над забором светил месяц, а в окошках теплились неумело нарисованные свечи.

Идо сервировал завтрак, а возможно – обед: два куска хлеба, намазанных хумусом. Я съел свой кусок и запил водой из крана.

Мне часто попадаются люди, почему-то полагающие, что кисточки и краски, которыми я рисую, есть реальные предметы реального мира, а вот то, что нарисовано – это уже моя выдумка. А я видел Идо, трогал руками его картину и домики на ней, и могу засвидетельствовать их реальность. А кое-кто видел меня самого... Значит, все в порядке! Я реален! И вы тоже! Возможно, мы с вами вставлены друг в друга, как Умань Идо вставлена в какую-нибудь другую, фактическую Умань. Или Гумань, как говорили когда-то.

Другие люди впадают в противоположную крайность, заявляя, что «художник творит свои миры». В таком случае Идо сотворил мир, в котором он, в качестве Господа святого и крепкого, уже помиловал все живое, не дожидаясь от этого живого чего-либо.

И я тоже был прощен! Об этом ясно сказала курица, ее фиолетовые ресницы. В этот момент тяготивший мою душу гигантский призрак Иерусалима растаял, я очутился в чем-то похожем на обыкновенный Харьков, – просто город, где нашлось вдруг место и для меня тоже.

Люди любят ясность. Ясность успокаивает. Однако ясности нет.

Я много раз рисовал Идо, чаще всего вместе с сыном, которого видел на фотографии, и это принесло мне деньги! Одна галерея купила портрет углем, а один известный адвокат – большую картину маслом.

Самого же Идо я больше не встречал.

Джой

Джой сидел на простыне. Задница у него была розовая и морщинистая, как у старика. Он и был стариком. Облезлый его хвост напоминал крысиный. Из-под простыни торчали длинные ноги в черных носках, а с другой стороны, там, где сидел Джой, неопрятные черно-серые пряди волос. Через час, на углу у магазина, он, натягивая до упора поводок, пожирал ошметки колбасы и кошачий корм, насыпанные в пластмассовую коробку чьей-то сердобольной рукой. Улицы казались чужими, но многое узнавалось, и пока я шел вниз, к арабскому рынку, повсюду, над крышами, в просветах между грязно-серыми и желтыми стенами, сверкало ослепительно-синее море. Когда мы вернулись, пришла Анита с годовалой дочкой на руках и устроилась на продранном диване. – Дедушка уехал! Уехал... – сказала она, – и показала на грязный потолок. А потом вошли похоронщики.

В ванной, в умывальнике, было полно длинной седой щетины и валялись кучей использованные бритвенные лезвия. На одном из них еще не засохла пена. Видимо, утром побрился. Его жена звонила около одиннадцати, когда он был жив, и врачи еще что-то делали. Я машинально открыл кран, и раковина наполнилась серой водой. На его банковском счету оказались деньги – один шекель пятьдесят агорот. В магазине ему отпускали в долг – последние четыре года это было обычным делом. У него была повышенная пенсия инвалида, и он всегда возвращал долги.

С балкона был виден весь нижний город. Плоские асфальтированные крыши, пальмы, кипарисы, бегущие к порту кривые улицы и белые административные здания в самом низу. Все это вот уже двадцать лет портило мне кровь. С тех самых пор, как я сюда вполз, суетливо, как придавленный таракан. Я все пытался пристроиться в этой куче мусора, выброшенной морем на пыльный берег в качестве образца Средиземноморской цивилизации, но мне было далеко до таракана – в смысле неприхотливости и умения устраиваться в жизни. Город же, шершавый и горячий на ощупь, между тем вползал в меня. Особенно это было заметно, когда я пытался «вести себя», а я изо всех сил пытался вести себя хорошо. Мне хотелось заехать в рожу, а я искал «общий язык», и в голове у меня утвердился Бахайский Храм – сооружение безликое и бездарное настолько же, насколько были бездарны создатели Бахайской религии, подразумевавшей «всеобщее единение». Этот «всемирный храм» напоминал американский Капитолий с пристроенной к нему Потемкинской лестницей. Я и не заметил, что невольно стал чем-то вроде бахайца: всем, а значит, никем. Почти как поется в известном гимне, который, как знать? – может быть, до сих пор поют в какой-нибудь дыре, еще более заброшенной, чем эта. Кстати говоря, мне как-то случилось побывать в пещере, где якобы подвизался некий святой, которому приписывают создание «бахайских концепций». Дело было в друзской деревне, на Голанах. Судя по глубине пещеры, святой не так уж тянулся к людям. Как и все пророки, он по-видимому не очень-то заморачивался тем, как его поймут и что может выйти из его пророчеств. Меня же влекло к людям постольку, поскольку это приносило мне хумус насущный. Этим питательным продуктом кормили в бесплатной столовой. Судя по его запаху, он пережил срок годности, как и многие окружающие. В то время меня тянуло от людей, а не к людям. Какое уж тут единение... Потому-то я так легко сходился с любим, с любимыми...

Кстати, я хочу сказать – может, кто-то ждет от моего рассказа связности, понятности, того, что называется сюжетом – совершенно беспочвенные ожидания. Разумеется, все это вместе взятое, все, что тогда сбылось, было бесконечным количеством сюжетов, вернее, было бы... но я вдруг потерял способность видеть сюжеты. Я видел просто огромную кучу жизненной закваски, которая сама по себе, без всякой цели шевелилась в бетонных зарослях, движимая простейшими инстинктами – есть, пить, испражняться и размножаться. Разумеется, все это виделось мне лишь потому, что это я сам был движим перечисленными мотивами – и потому

приписывал их окружающему. А в городе между тем жили и творили писатели и ученые, художники, монахини Кармелитского монастыря, трудились инженеры и техники, прогаммисты (и бахайцы! я чуть не забыл бахайцев!), вели оживленный диалог представители различных политических партий, левых, правых, и тех, что посередке, диалог о том, как нам всем получше устроить нашу жизнь в этом почти курортном уголке, у моря. Они-то все видели не бессмысленно пузырящуюся закваску, а глубокий смысл, вернее, множество разнообразнейших и глубочайших смыслов, сюжетов того, что с ними происходило.

А вот один из сюжетов: работал рабочим на заводе Ремточмеханика. В 1990 г. выехал в государство Израиль на ПМЖ. Работал грузчиком в перевозочной компании «Братья Лоевы». Для улучшения бытовых условий взял ссуду и приобрел трехкомнатную квартиру, в связи с необходимостью регулярно погашать задолженность по вышеупомянутой ссуде в 1996 г. поступил рабочим на кабельный завод. В связи с необходимостью погашать долги жены, сделанные ею в период работы по распространению косметических и лекарственных препаратов фирмы «Санрайдер», оставил завод и занялся маклерскими услугами по продаже квартир, под руководством некоего Бори. В 1999 году совместно с Борей и еще тремя юридическими лицами взял значительные ссуды в нескольких банках для организации частного бизнеса – дискотеки «Армагеддон», каковой бизнес с 2000 года стал нерентабельным ввиду интифады. В связи с ликвидацией предприятия и отбытием Бори в страну, оставшуюся неизвестной, а также необходимостью погашать долги в размере 700 000 шекелей, постепенно стал хроническим алкоголиком-инвалидом, и, в 2010 году, наконец, умер от инфаркта. Разумеется, несвежая простыня, черные носки и Джой тоже являются каким-то образом частью вышеизложенного сюжета, но чтобы их органически с вышеизложенным увязать, необходимо быть писателем, программистом или бахайцем. Я ни то, ни другое... Точнее, ни то, ни се... Мне не хватает собственной нарративности, а одолжить негде. И хорошо! Я подозреваю, что в самом осюжечивании уже таится суждение, а стало быть, и осуждение. Неужели же (быть не может!) сам способ нашего мышления изначально содержит подлость? Надо бы как-то разучится мыслить. Я стою на балконе, отсюда, с последнего этажа открывается потрясающий вид: ослепительно-лазурное море и бегущие к нему экзотические восточные улицы в пальмах и кипарисах. За спиной у меня совершенно сгнивший кухонный шкафчик, из которого вывалились проржавевшие кастрюли – те самые, пасхальный подарок братьев Лоевых.

Кстати, о нарративности – я совсем забыл о каббалистах! Когда еще во время войны в Персидском заливе на город у моря падали ракеты, одна из них не взорвалась прямо в супермаркете, на Чек-посту, так каббалисты это объяснили. К сожалению, не помню как. Я запомнил только самое начало фразы: «Это было нужно для того, чтобы»...

De profundis

«На холмах Грузии лежит ночная мгла», – бормочет В., справляя малую нужду. В очередной попытке самоидентификации вдыхает он родной запах мочи, прислушивается к любимому напеву, извлекаемому из собственных глубин... Между тем все окружающее – бурые холмы, черно-фиолетовые тучи и бензоколонка остаются тем же, чем и были, – набрякшей непостижимым туманом «вещью в себе». Застегнув ширинку, В. смотрит вниз. Там уже суетятся – прибывают пуленепробиваемые автомобили, маленькие олигофрены выскакивают из них и пускаются в незатейливые игры: перебегают с места на место, выкрикивают что-то неразборчивое, толкаются, хохочут и плачут. Толстенная девка-даун, лет десяти, наконец догнала шофера и заключила в объятия. Вырваться бесполезно. Шофер смущенно оглядывается, а потом начинает гладить ее по голове. Через минуту она отпускает его и гонится за диспетчером, ей хочется обнять всех, а может, весь мир – чтобы он гладил ее по несчастной тупой башке, где нет ничего, кроме этого желания. Мир не шевелится – каменный карьер и обгрызенная бульдозерами гора над ним, жестяные сараи гаражей, бензоколонка и бледные ленты шоссе, все то, на чем еще лежит ночная мгла, – до самого Мертвого моря, над которым уже занимается – уж не заря ли?

У себя в будке В. читает с экрана. Форум будущих дон-Хуанов выдавливает у него горькую усмешку. Он идет в учительскую и делает себе бумажный стаканчик сладкого молока. Потом пишет краткое письмо своему старому приятелю, живущему на пособие в Баден-Бадене. Потом два часа говорит по скайпу с одним идиотом – бывшим сотрудником кафедры истории искусств. Потом совершает небольшую прогулку вокруг охраняемого объекта. Заполняет специальный бланк, где в графе «патрулирование» указывает, что прогулок совершил шесть. Затем – сеанс медитации. Он медитирует на крестообразной шляпке шурупа. Поток мыслей удастся прекратить не сразу, потом все идет неплохо – головка шурупа заполняет сознание, лишь детские вопли со школьного двора изредка мутят изображение, но это не помеха. Потом возвращается к киносценарию, который мысленно пишет с позапрошлого года, и К. прямо лезет в органически чуждый ему текст, где ему нет и не будет никакого места.

В. намеренно сидит спиной к окошку, но это не помогает. Перед его глазами медленно и неуклонно разворачивается все та же картина: К. ковыляет среди старых покрышек, мусорных куч и всякого автомобильного хлама. Вот он влезает в щель между бетонной оградой и сараем с надписью: «Гараж Нир – Нир гараж», выведенной с помощью золотой аэрозольной струи прямо на жестяной стене. Там, в щели, он с придиричивым идиотизмом оглядывает то, что видит каждый божий день: кучу размокших гипсовых панелей, накрытую искореженным железным листом, и ящик с пустыми пластиковыми бутылками, сквозь который пророс бурьян. В этот момент глаз его напряженно сощурен – глаз бывшего офицера ЦАХАЛа, лучшей армии Ближнего Востока, а может, и мира. Такие люди умирают офицерами, ибо офицер бессмертен. Особенно в замызганном плешивом охраннике, выгнанном из армии за... Эту тайну он унесет в могилу – до Страшного суда.

К. вылезает из щели между бетонной оградой и гаражом и бредет обратно к своему тендеру, размалеванному вручную желтой и красно-бурой краской.

На бензоколонке еще пару лет назад дежурили по ночам, но потом охранника убили, видимо, спал на работе, придурок – забрали пистолет «СZ» и две обоймы. Будку убрали – так оно покойнее, заодно и выяснилось, что охранять-то вроде нечего. Но этим летом, в субботу утречком, подъехал экскаватор-бульдозер, снес ворота, а заодно и киоск-банкомат, раскурочил все это вдребезги и, подцепив ковшом сейф, уехал... Разумеется, ты взял себе подработочку – ночные смены, от которых я отказался – думает В., – и К., подволакивая ноги ходит у него в голове, а потом укладывается спать на дощатом самодельном лежаке, и над ним тускло мерцает

дежурное освещение. В грядущей неизбежной перестрелке, когда полыхнут цистерны с бензином, на черно-багровом голливудском фоне (это уже в самом конце фильма-грезы), появится он – с отвислым брюхом и с табельным пиколем в руке, закроет своим телом маленьких калек – и в этот момент его прошьет автоматная очередь.

– Кто я? – вслух произносит В., всматриваясь в собственные руки, стараясь изгнать К., и ему кажется, это он сам ворочается на лежаке укрытый поверх одеяла разукрашенной пятнами супа форменной курткой. Это сухой суп. Он продается в пластиковых пакетах – просто добавь кипятку, а потом швырни упаковку в кучу возле своей будки. Суп создает проблемы – капает на одежду, как бы ты ни скрючивался на своем стуле. Впрочем, куртка и так уже измазана известкой, ибо ты имеешь привычку прислонясь к будке орать в свой пристегнутый к поясу алюминиевой цепкой мобильник, делая руками однообразные, но выразительные восточные жесты: втыкаешь в перегретый воздух растопыренную ладонь, потрясенный чьей-то глупостью, хватаешь себя за голову, а потом воздеваешь руки к небу, взывая к Господу, и главное – складываешь пальцы в щепоть и трясешь ею перед лицом невидимого собеседника, призывая его к терпению.

Ну да, он просто делает свою работу. Зарабатывает на жизнь. Кроме того, со страстью поучает «молодежь», особенно ни к чему не пригодных дебилов, не сумевших удержаться в ешиве ввиду крайней тупости, да склонных к употреблению травки бывших «джобников»¹ – это его контингент. Видавшие виды сторожа, на подагрических ногах и с присохшей сервильной улыбкой на оливково-сером лице, тихо посылают его к «эбенемат». Будущие же студенты университета, изучающие в будке психологию, компьютерное дело и т. п. при помощи карманного ноутбука, отворачиваются уже при второй попытке обучать их жизни. Такие уверены, что вскоре станут врачами и адвокатами, риэлторами и криэйторами, цукербергами и биллгейтсами. И тогда они проедут мимо бензоколонки в своих «порше». А ты, прислонившись к трансформаторной будке, проводишь их взглядом, а потом вынешь из кармана пачку «Noblesse» и коротким жестом вбросишь в рот сигарету.

«Мне грустно потому, что весело тебе, сукин сын! – думает В. – Что ты размахался руками, что ты можешь интересного рассказать двум своим подобиям, тянущим сквозь трубочки шоколадно-молочную смесь из бумажных стаканчиков? О том, что ты вчера хавал на вечеринке, устроенной работниками дорожной полиции по случаю победы «Маккаби-Хайфа» со счетом 2:1? Так это и так известно – сэндвичи с туной и «малэ салатим»!² О том, сколько отпускных и праздничных дней тебе недооплатили в прошлом году?» Неужели вот это вот и вызвало у них одобрителное трясение головы, похлопывания по спине и энергичное сминание стаканчиков с последующим выбрасыванием в урну – в то время как обычно они с царственной осанкой ставят их на трансформаторную будку, предварительно воткнув в недопитую жижу окурки? Чего это они вдруг? А вот подошел еще один и угостил всех сигаретами «Noblesse» и дал прикурить от золотой зажигалки. И вместе со всеми заржал – по поводу чего?

Черно-фиолетовые тучи несутся над оранжевой землей, и она буреет. Сизые тени накрывают кактусы, и они гаснут – чтоб через мгновение ядовитой вспышкой воткнуться в глаза. К чему это? По поводу чего фейерверк? Куда, крылом не шевеля, летит розовый с черной эмблемой кулек, а? Домой в супермаркет? До каких же пор будет дуть, давя все живое, этот ветер? А главное – до каких пор ты будешь отравлять мне каждое божье утро своим безнадежным видом, своей походкой, своей небритой, потной харей, своими плоскими, как твои стопы, шутками? До прихода твоего любимого Машиаха? Я знаю, на чем он к тебе придет, – на белом тендере, размалеванном желтой и краснобурой краской!

¹ «Джобник» – солдат небоевых частей.

² Мирс» (ивр.) – мобильное средство связи.

Вот сейчас он позвонит. Зачем? Узнать, прибыл ли я на рабочее место?

Ты можешь это сделать, просто выглянув в окошко. Но нет! Он выходит наружу. Он машет мне рукой и достает служебный телефон. Если я опаздываю, он звонит. Но зачем, три креста мать, звонить, если я тут, на виду! Осведомиться, как мои дела? Вот он я, на горе! Я забрался сюда четыре с половиной года назад – как только поработал с тобой бок о бок два дня. Я даже объяснил начальству, что отсюда лучше видно. Не мог же я им сказать, что отсюда почти не видно тебя, а главное, совсем не слышно. Но ты воспользовался служебным телефоном.

Началось перерассаживание – одни машины собрали их по поселкам, а другие развезут по спецшколам. Ты стоишь в центре столпотворения, среди беспомощной суеты, и, размахивая руками, даешь советы. Твой голос тонет в их птичьей гаме, они бегают вокруг тебя, вцепляются в твою куртку, в шофера, друг в друга, им надо почувствовать, что рядом есть кто-нибудь, а может быть, что они сами есть тут, на этом свете, они сопротивляются попыткам пожилой сопровождающей расцепить их и повисают на ней. В конце концов стоянка пустеет, и ты бредешь к своему желтобурому тендеру...

Я думаю о нем, глядя на кусты. Наверное, я думаю о нем слишком часто. Чаше, чем он того заслуживает. Сегодня я думал о нем уже четырежды: когда он утром позвонил и напомнил о необходимости переслать по факсу ведомость о моих рабочих часах, когда вспомнил, что не сказал ему о поломанном «мирсе»³, в час дня, когда увидел его телефон, записанный фломастером на стене будки, и еще раз вечером, когда мне вдруг почудилось, что это он заглядывает в окошко, но присмотревшись, я увидел в стекле огни поселка, ворота, и на фоне черного неба собственную небритую рожу.

Чудесное утро – поднявшись на гору, я не вижу желтобурого тендера! Только что прошел дождик, и чистейший воздух без малейшей примеси пыли ласкает гортань. Этот воздух даже пахнет – я различаю запахи! Уж не потому ли, что тебя нет со мной? Как прекрасен был бы этот мир без несчастных, ни к чему не пригодных ублюдков! Как жутко мне было видеть вчера, как ты ешь! Ты установил на коленях пластиковую коробку и пластиковой же белой вилкой, каких ты набрал в кафе целую пачку, таскал в рот холодные макароны, смешанные с консервированной туной, кукурузой и горохом, посыпая все это карри, и карри сыпалось на твои брюки, на продранные сидения, на пачку документов и на твои новые белые кроссовки с несгибаемой подошвой, которые ты купил в супермаркете, – я видел там такие, в огромном ящике у самого входа. Когда ты читал мне первую мудацкую лекцию о нашей нелегкой и ответственной работе, было ли тебе вдомек, козел, что я уже видел таких, как ты? Я с ними встречался на курсах, сдавал зачеты по стрельбе, я пил с ними кофе, пепси и фиолетовый напиток «Фрутти», ел сэндвичи с хумусом. Я получал с ними форменные брюки – и сам укорачивал их в своей будке, я менял место работы и встречал их снова – постаревших, рассказывающих тем же голосом те же анекдоты, но купивших новые мобильные телефоны с комплектом новых мобильных развлечений... Они дорассказали мне все о тебе – все, что ты сам о себе не дорассказал. Ведь за четыре года мы обменялись всего несколькими фразами – в самом начале знакомства! Но главное, что осталось непонятым и непонятным, – зачем такие топчут землю и вдыхают кислород!

Спецшколы окончили рабочий день. Обиженные богом уже расселись в свои броневики. Они едут домой, к маме, а ты – к кому ты поедешь? Жена ушла в такое недоступное ныне прошлое, где кажется, уже нет тебя самого... Так и не родившиеся у вас дети родились у кого-то другого, дай бог им здоровья! Раз уж не дал этим. Зачем? Может, они чем-то провинились? Когда? И где? На холмах Грузии, где лежит ночная мгла?

³ «Малэ салатим!» (ивр.) – полно салатов!

В. идет к бензоколонке. К. зачем-то вылез из своего тендера и стоит, прислонясь к трансформаторной будке. В. идет, стараясь не глядеть на него. К. отворачивается и достает пачку, коротким жестом вбрасывает в рот сигарету «Noblesse». Смердя черным дымом, подваливает автобус. В. торопливо семенит к двери, но вдруг видит, что К. машет ему рукой и улыбается, – углом рта. В. останавливается, чувствует, как в груди что-то рвется, слышит свой сдавленный крик. Сотрясаемый рыданиями, спотыкаясь, бежит – куда?

– Я обнимаю его! – с удивлением осознает В., вцепившись в вонючую куртку. – Его пот течет по моему лицу!

К. растерянно замирает, а потом начинает гладить В. по голове.

Клятва

Вот что было рассказано мне за бутылку портвейна по рупь тридцать шесть копеек:

«...первое, что я тогда увидел, был дым. Я говорю – первое, потому, что вся предыдущая жизнь – не в счет, да и последующая тоже... Дым этот двигался невероятно медленно, а может, и не двигался вовсе, только я никак не мог отвести от него взгляд. Это было как на фотографии, где жизнь только подразумевается, черно-белая такая...

Вокруг сколько хватало глаза, тянулись пологие холмы, из-за них-то и выползал дым, все вокруг было покрыто почернелым от вчерашнего дождя бурьяном, и пахло мокрым бурьяном и понятно, гарью. Кроме того, пахло падалью. Этот запах подымался снизу – от моей ноги. Тяжелая, как колода, обернутая гнойным, с налипшей пылью и сором разнообразным тряпьем, которое я подбирал, где только мог, она нестерпимо смердела. Боли почти совсем не было, жар спал, наоборот – легкий, какой-то пьяный озноб временами кружил голову. Я больше и не пытался сообразить, зачем я тут и куда все подевались – я совершенно забыл об этом намерении, – как, впрочем, и о всех намерениях вообще.

В десяти шагах от меня, на распряженной площадке, широко расставив босые ноги, сидела молодая баба и кормила грудью младенца. Дым какими-то отдельными толчками выдавливался из оврага и прилипал к ее спине. Это было удивительным блаженством. Совершенство этого мира, и меня в нем, становилось все более очевидным. Прямо над дымом, подняв крылья, стояла в небе ворона. Небо сладко воняло, вообще этот трупный запах содержал в себе нечто удивительно новое – какую-то небывалую доселе ноту окончательной ясности, осмысленности, полноты и единства всего... всего вокруг и внутри меня самого! Я сказал – предыдущая жизнь не в счет. Да, именно так! Сейчас вся она была как бы маленькой серой точкой, которая вот-вот, наконец, окончательно растает в чем-то огромном, бесконечном. Моментами я радостно удивлялся – кто же это так быстро бежал, кричал, падал и вскакивал? И главное – кто же мучительно прощался с отцом во дворе училища, где так чисто, по-довоенному, пахло свежескошенной травой, табаком и одеколоном. Кто давился рвотой от страха, и выл по-собачьи, и по-собачьи рычал, и обделался, а потом мылся в реке. А рядом, в воде, лицом вниз, плыл кто-то в бязевой серой рубашке, без сапог, с распухшими, сизыми до черноты ногами. Какая веселая суетливая и быстрая игра! Я выстрелил и попал, – а потом, на насыпи, упал сам, а рядом поднялся душный фонтан и чем-то – шпалой? Да, наверное, – раздавило ногу...

Баба взяла грудь пальцами и отдала книзу, дым пополз из-за ее спины, я легко и радостно вобрал в себя густой, жирный воздух, вместе с бурьяном, с дальними холмами, а с ними и это золотое и синее, что так восхитительно дрожало, замирало. То была моя – о, совсем моя, даль!

Слева, торопливо, чуть не бегом, отступала рота. Фигуры раскачивались в желтом мареве, ноги бухали в пыль, но я ничего не слышал. Пронесли носилки, должно быть, кто-то кричал на них, потому что потом я уже услышал крик и понял, что это была вчерашняя рота. В смысле, что все это было вчера. Я еще сообразил, – не буду объяснять, как. Сообразил, что это происходит со мной, но радость не прошла! Наоборот – стала еще светлей, – это было такое поразительное открытие! Я видел все это – и бабу, и дым, и бегущих людей из окна нашего дома... когда я был еще пяти лет, когда. Этого не объяснить никак – но было такое чувство или скорее даже знание, что этого, моего навечно, дома, никогда уже нельзя покинуть – я снова увидел, просмотрел то что было, – для этого я сотворил ту серую точку, приблизил ее к себе – прежде чем навсегда забросить туда... куда-то далеко... под шкаф... я внимательно рассмотрел мать, как она катает ногой в шелковом чулке катушку малиновых ниток по навощеному пахучему паркету, в котором отражается люстра, вытащил из бочаги красно-синий резиновый мяч, и наподдал его ногой, капли осыпали мне лицо и шею, а потом солнце рдело сквозь пыль

над коровьим стадом, и поднял косу сестры и понюхал ей затылок, и стало душно и страшно, и выстрелил и попал, и выплюнул страшный длинный сгусток, и дым выполз из оврага.

Все было радостно. Рота ушла. Это я так зачем-то думал – рота. Это была не рота, а дивизионный обоз. Они видели, но... Им было не до меня, надо думать. Что они могли сделать? Они могли посадить меня на телегу. У них не было телег. Они несли носилки. Они могли бы унести меня. Хорошо, что они ушли. Баба тоже куда-то ушла. На площадке никто не сидел. И это все было в той серой точке, а я уже не был. Я посмотрел на свои ноги – вторая нога была обута в сыромятный чувяк, на него свисали желтые кальсоны с завязками, а над ними петлей висели штрипки галифе. Другую штанину мне отрезали кривым дагестанским ножом. Удивительно бездарно я жил! Мне казалось, я живу зачем-то. Я поступил в училище, я мечтал стать топографом – ездить в разные края и составлять карты земли. Земля на картах – это очень нужно! Маленькое сирое, боже, какое глупенькое, но тоже – такая смешная, детская радость! Теперь-то все уже иначе! Как прекрасно! Не выразить этого никак!

Если надо – я бы умер, погиб... я был готов. Была цель. У каждого почти, есть эта пустейшая в мире вещь... Дым пополз быстрее – гораздо быстрее! Меня призвали – и я пошел... я воевал. Я солдат, военный... Баба опять сидит на возу. Грудь очень белая – а лицо у нее красное, мокрое. Она раскутала своего, у него тоже красное, шевелит ножкой... Куда же все ушли? Этот вопрос не подразумевал никаких поисков ответа. Ответ как бы не существовал. Был несущественным. А вопрос был просто такой штукой у меня в голове. Все, что у меня было когда-то, исчезло. А было – только свет, только воздух – очень, очень вкусный воздух, и – будущее! Оно уже было сейчас, это будущее – в виде синего и золотого там, над холмами, где к ним прилипло синее небо – в виде натянутой тонкой пленки, невсамделишной... Удивительно только – как же я раньше всего этого не заметил?

Я на этой площадке день ехал, за это время трое умерли, – и всех успели похоронить, а потом – не помню, видно, решили они что я тоже того... я конечно был без сознания, или думали, обозные подберут, – там позади еще были наши, – санитарный обоз с повозками и раненых до черта, ну, я не знаю. Правда, помню – всё судили-рядили кому ехать, кому идти, кому оставаться, – это когда я еще на площадке лежал, а Никитин кричал, что они не имеют права. Когда открыл глаза, – только эта баба, на площадке, – и откуда, думаю, она взялась, и рядом с ней двое мертвых, Никитин, и еще. За бабой потом старик пришел, видно отец, и потащил ее куда-то, в деревню должно быть. Я так понял – она была без ума, тогда многие с ума сходили... Старик мне что-то говорит, а я не понимаю что, и молчу в ответ. А он и говорит: «И ты, сынку, тоже сдури!»

Ты ж не думаешь, что я вру. Но я не умер. Ногу мне отняли в госпитале и не расстреляли, я служил в комиссариате, потом до тридцатого года в подотделе Наробраза, до тридцать девятого отбывал срок, потом без права выезда на родину. Потом женился даже. Все это не имеет значения. Я, конечно, позабыл тот дым и бабу на возу, хотя, конечно, бывало и вспоминал. Слишком много всего было... Я имею в виду – разных событий. В лагере умирал, протез мой украли, и я ползал на четырех, и дрался на четырех самодельным ножиком – отточенной консервной крышкой, – просто я никогда уже не имел никакой цели и ничего не хотел, ну, разве что есть и спать, и мне всегда было хорошо».

Разумеется, воспоминания эти, услышанные мною летом 1962 года, и переданное здесь по возможности точно, есть все же в большой мере плод моей памяти... Эраст Петрович Смугляков, инвалид гражданской войны, которого наша дворничиха называла «Ростик», а все прочие «Петровичем», умер зимой...

О Петровиче я до того только то и знал (ребята рассказали), – как он ответил участковому:

«Они с управдомом пытали его насчет какой-то бумаги, прижать хотели, насчет комнаты. Соседка наезжала, у нее, мол, сын женился, Герасим, после армии, на Дальнем Востоке служил, на подводке или где, – и ему положено. Петрович в домоуправление вообще не шел, “интелигент, ни з кым нэ розговариваеть” – кричала соседка, и управдом сам к нему явился с участковым. Только он их к себе не пустил, а стояли в коридоре на третьем этаже, и они ему: “давай, мол, бумагу”, – а он смотрел мимо них. И тогда участковый: “Я, говорит, тебя выселю!” А Петрович говорит: “Ну, раз так, сейчас поищу!” – и стал рыться в пиджаке, в кармане. – “О, нашел!” – вынул кукиш и под нос ему...»

Петрович высморкался, зажав ноздрю большим пальцем, и допил остатки портвейна. Культя лежала на лавке, штанина, как водится, была заколота английскими булавками, а костыли стояли рядом. На его лице лежал удивительный отблеск непостижимого счастья. Сизые губы раздвинулись, обнажая стальные фиксы, он, закинув голову, смотрел вверх и легкие слезы стояли у него в углах глаз.

Насчет сине-золотого мне было вполне понятно – оно дрожало на горизонте, далеко-далеко за городом, где уже не было никаких домов, а одни только бесконечные поля и перелески. Я это дрожание много раз видел, лежа животом на широком теплом подоконнике, на пятом этаже. Окно это было сейчас прямо перед нами, над головой, только оно было закрыто. «Ты что тогда, не за красных был?» – спросил я его, а он ничего не ответил, – типа, «не помню», но я его понял так, что это все равно. Насчет дурацких забот тоже – я уже кончал школу и заботился, как поступить в институт и отдать долги, и никак не мог сдать экзамены за десятый класс, а тут ещё военкомат, и ещё много всего такого, и мне часто бывало до того тоскливо, что хоть вешайся! И все вокруг тоже так жили, озабочено, трудно... хотя всего у них было вдоволь, кроме, конечно, жилплощади. Даже пьяницы – Василий и Вовка Романовы, отец и сын, все время разбирались, кто кому должен, спорили и дрались, размазывая кровавые сопли по испачканным известью лицам (они были маляры) и было ясно – их гложут заботы, и они никак не могут напиться так, чтобы обо всем позабыть. И тогда я дал себе слово – жить, как Петрович, – словно у меня нога, и я обязательно сегодня умру от гангрены.

Дети Зуси

– Когда я вручила им очки, в том самом зеленом футляре, так прямо стон раздался. Все подались вперед, думала, – сейчас задавят. А потом завернули футляр в какую-то ткань, мне показалось, золотую, и понесли. А меня и вправду чуть не затоптали. Стиснуло – дышать нечем, а потом футляр с очками они поместили в своей синагоге, на почетном месте, в специальном ящике. А уже потом сделали красивую подставку и стеклянный колпак, – так, чтобы все могли их видеть. И приезжают отовсюду, чтобы поглядеть. Они мне прислали фотографию, как люди стоят и смотрят на очки.

Какой он был? Ну, не знаю... Он вообще мало общался со мной. Я была младшая, ему было уже лет пятьдесят, – о чем со мной говорить?

Другое дело – Фима. Фима стал раввином. Они с Нюсей соблюдали. Не спрашивайте, чего это им стоило! всю свою жизнь он не имел ни минуты покоя, вы же понимаете... Даже когда уже началась эта перестройка пришли и сказали: будете учить иврит – заберем детей в детдом. Чтоб не дурманили. И затравили до того, что Нюся попала в больницу. Нюся над своими детьми так тряслась, так тряслась. А она была опять беременная, как всегда. Она там сходила с ума – что будет с детьми? Ей говорили: ты этого сохрани! Давали всякие успокаивающие препараты. А ребенок родился больной, скрюченный весь, и они мучились с ним все четырнадцать лет... Я сколько могла – им помогала, пока они, наконец, не уехали. Своих-то детей у меня никогда не было...

А Арик был коммунистом. Это он так решил, сразу после войны. Так папа ему ни слова не перечил. Фима говорит: «Ты с ума сошел!» Они чуть не поубивали друг друга.

А папа – ни слова.

Веня и Зюня – те были ни то, ни се... Веня всю жизнь проработал на кожевенном заводе, ему потом дали такой портфель, а на золотой табличке надпись: «Вениамину Зусевичу Черняховскому в день выхода на пенсию», медаль в коробочке, и книжку – «Ветеран труда».

А Зюня метался. Проучился три курса медицинского. Бросил и уехал. Вернулся и его посадили. За какую-то гадость. Кого-то обманул, какие-то деньги на дом...

Потом работал – Веня его устроил... Так и там что-то было! И Веня его чуть не убил – ты, говорит, меня предал, ты мне жизнь сломал, как я теперь буду людям в глаза смотреть. И папе кричит: «Как ты вырастил такого, это ты виноват – так воспитал!»

А Зюня ему: «А если человек не может жить как ты, жополиз!?» Извините меня за выражение! – это Зюня так сказал.

А Лия, старшая, была больная от рождения, и мама говорила, что после уже боялась рожать. В сорок лет она спала в детской кроватке – огромная, толстая. Встанет там на четвереньки и спит, а на голове папильотки из газеты. Всегда ходила в пальто – зимой и летом, а в карманах помада, пудра, одеколон... Идет по улице и делает «глазки». И кто только хотел, пользовался.

Марк Аронович, и папин брат, и все, говорили: «Это же позор! Сделай что-нибудь!»

Так папа отвечал: «А что надо делать?»

Папа умер в шестьдесят седьмом году, прошло, значит, сколько лет... я и понятия не имела. А тут приехали. Когда они позвонили, я так растерялась – стоят двое, в настоящих лапсердаках. Я уже потом поняла, что лапсердаки, – как на той папиной фотографии... Оба такие громадные, блестящие какие-то... Кожа белая, нежная, как у женщины все равно. Бороды, черные-черные. Все время улыбаются. И с ними переводчик, ничего себе, такой.

Короче говоря, пришлось ехать туда, в Амстердам. Я чуть с ума не сошла от страха...

Я вообще всю жизнь пробоялась...

Я помню, как папа с мамой шептались, – и чтоб мы и близко не подходили!

Папа был раввином в Жовкове, это под Львовом, и когда наши вошли туда. Я имею ввиду – Красная Армия. В конце концов, они оказались здесь. Это все было тысячу лет назад. Кто это сейчас знает? Вы же понимаете.

В общем, переводчик мне объяснил – папа был великим раввином. К нему съезжались из всей Польши, из Европы даже. Он был из династии. Он был цадик. И наш дедушка тоже был цадик. И прадедушка. Он был вождь своего поколения.

А мы, я, ничего не знали! Я-то выросла уже тут...

Я окончила школу, техникум, работала в магазине, потом в столовой... А Лида Куц работала на кассе и воровала деньги. Ее так повар научил – «от котлеты жир на кармане, ты деньги бери!» Ну, она и брала, – на детей. Вы же понимаете, тогда же все голодали, у всех же были дети...

Ну, я не знала, что делать. Ей было так тяжело, так тяжело... Вы себе не представляете. Я хотела сказать директору, пусть он примет меры. Но ее же могли арестовать? Я так плакала, так плакала!

Я побежала к папе и говорю: «Она же ворует!»

А он говорит: «Ты моя доченька!» – лицо у него стало такое, я вам сказать не могу... Только тут я поняла, как он меня любит. И он мне говорит: «Ты маленькая, тебе хочется, чтобы был кто-нибудь большой-большой, с белой такой бородой, чтоб любил и за всем следил – чтобы было правильно. И если ты хорошая, – он тебя гладит, по головочке твоей кудрявой...» – говорит, а слезы у него по лицу так и текут, так и текут! – «А если ты плохая, пусть хоть убьет, – не страшно... Лишь бы только он был! И чтоб у тебя в руках список: что хорошо, а что нет. Бедная, бедная моя...»

А я говорю: «Папа, а разве это не так?»

Я только одного не пойму – зачем им его очки?

Дом без дверей

Март был какой-то бурый. Город постоянно выделял этот цвет, выделения желтели облака, да и вообще все вокруг.

Вдоль путей лежал снег, весь в мелких проталинах, усыпанный гарью и ржавчиной. Далеко-далеко, за сортировочной, подымались дымы.

Мы перешли Вонючку по горбатуму мостику, сколоченному из шпал.

Сын семенил впереди, – в своих красных резиновых сапожках. В тон алели оттопыренные полупрозрачные уши, раскачивалась смешная кисточка над буратинским полосатым колпачком.

Непрозрачные воды сочились в бетонном ложе среди мусора, разнообразные отбросы напластовали речной рельеф: пороги, отмели, перекаты. Кое-где торчали ржавые прутья, обрывки всяческой рвани и пластика свисали с них разноцветными гирляндами. Из дыры вился пар, теплый душок тухлятины выплывал оттуда, мешаясь с запахом железа. Внизу, в грязи, сидела большая бурая крыса.

Коленчатая кишка прихотливо изгибаясь уходила к путепроводу и там исчезала в нагромождении гаражей и сараев. В нее стекались ручьи, ручейки, ручеёчки...

Из трубы вывалилась другая крыса, побольше. Раздался писк. Он громко засмеялся, и крысы шмыгнули обратно в дыру.

В роще было тихо. Окруженная со всех сторон рядами заброшенных путей, догнивающими старыми вагонами, отрезанная от города высокими насыпями, гудами щебня и завалами железного лома, она жила своей, ненужной никому жизнью.

Да и кто полезет сюда – через надолбы порушенного бетона и змеиные клубки арматуры, заболоченные, поросшие глухим кустарником котлованы с тухлыми озерцами посередине...

Сиплый гудок локомотива повис в сыром воздухе и вслед за ним донесся стук колес. Скоро, – ох, как скоро, снег растает, выткнутся из земли белесые клювики, зазеленеет на мусорных кучах бурьян, ползут из черной холодной жижи оттаявшие лягушки, бродячие собаки выведут щенков...

Надо будет наглядеться на это, – напоследок!

Зачем только тащу с собой ребенка?

Когда-то, давным-давно, где-то здесь была выкурена первая сигарета. Здесь, именно, сживали на ломаных ящиках те, самые главные люди, на которых – кем бы они ни стали, чем бы ни закончили – равняешься всю эту жизнь.

Вон там, кажется, среди верб...

Не умея выразить нахлынувших чувств, некий патлатый студиозус швырнул в небо пивной бутылкой, – она до сих пор летит: кувыркается в мутной синеве юный янтарный бличок...

Малыш присел, – что-то приметил в снегу.

Я вспомнил, как летом мы развел тут костер – вернее, он сам его развел. Нашел длинную щепку – от шпалы, видно. Потом стал деловито собирать сухие веточки ивы, куски ломаного штaketника. Попросил у меня зажигалку.

Крошечный огонек вдруг заплясал на снегу...

В тот день жена ушла к своим – записка была придавлена к кухонному столу банкой, в ней еще оставалось немного клубничного джема.

Вечером пили чай. В свете лампы пух на его шее стал совсем золотым. Он не позволил тогда разрезать на кусочки красивый бутерброд. Подставил снизу пальцы, малиновая струйка потекла ему в ладонь.

Летом уехали на юг. Собиралась старая компания – расслабиться, отдохнуть после отдыха приправленного каплей экстрима.

Забавно выглядели на приморском песочке низкие горные палатки, вафельное полотенце, подсыхающее на воткнутом в песок ледорубе.

Целые дни он бродил вдоль берега собирая всякую всячину – ракушки, камешки, обточенные водой кусочки дерева, черно-желтые крабьи клешни, плоские пустые панцири. Никто не следил за ним – он засыпал где-нибудь в тени, под скалой, на песке, или среди огромных оглаженных морем валунов. От его кожи, покрытой выгоревшим добела пухом, исходил какой-то свет. Волосы пахли ветром и морем. Он стал молчаливым и отчужденным с виду.

Я подплыл к берегу и, уткнув подбородок в песок, закрыл глаза. Покатые волны едва шевелили зеленую пахучую вату. Наталья дремала. Предпочитала загорать «без». Правая нога уперлась в камень, а левая, согнутая в колене, завалилась набок. Он стоял перед ней по щиколотку в воде и рассматривал свою новую, удивительную находку. Это и была раковина – бледно-розовая, раскрытая, живая и беззащитная.

Постояв, он двинулся дальше. Услышав плеск, она, не открывая глаз, медленно сомкнула ноги.

Уплывали длинные тягучие дни.

Тихое пьянство по вечерам, купание в черной воде, неторопливые прогулки наверх, в лабиринт скал и кипарисов.

О том парне старались не вспоминать. И все же, посреди ничемных курортных бесед, посреди бытовой суеты, кто-нибудь, некстати совсем, вдруг застывал, глядя вверх на то самое, почти неразличимое снизу место.

Дней пять (или семь?) тому, когда с самого утра пошли за водой, выскочила навстречу растрепанная бледная девица с опухшими глазами – не видали, мол, – такого и такого: блондин в синей футболке... За ее спиной сжимая и ломая руки топталась низкорослая пожилая женщина, и еще какой-то мужик – тот говорить не мог, – видно, понял что-то...

Оказалось – невеста! Приехали с родителями на субботу-воскресенье, искупались, поужинали, ну, выпили... И все.

Часа полтора мы карабкались по опаснейшим глинистым отвалам, где ни уцепится, ни ногу путем упереть. Тело лежало наискось, головой книзу. Муравьи проложили дорожку через пыльный лоб, туда, где красно-бурым комом слиплись волосы.

Выше застрял в колючках одинокий его городской сандалет.

Пошел прогуляться, проветрится, на луну поглядеть. Тропинка поверху, над скалами, а потом по осыпям. Там-то и оступился.

Кончилась жизнь, начаться толком не успев...

Вниз спускали его часов пять. Завернули в одеяло, привязали за ноги, – двое придерживали, чтоб не побился, двое травили веревку.

Так до конца и не поняли, зачем вляпались в это дело.

Взяли веревку – 50 метров, пару обвязок. Одеяло принесла несчастная семья.

И полезли. Долезло четверо, остальные застряли.

Когда уже спустились на-пол склона, появился мент в серомышиной форме и лихо пополз вверх, уцепился было за камень – но камень остался у него в руке. Мент матюкнулся и бросил камень вниз, туда где толпились зеваки – прямо какому-то мужику в голову, так что не увернись тот, был бы еще труп. Да и сам отчаянный мент смотрелся кандидатом. Ему предложили замереть – что он и сделал.

Уже в темноте, все закончив, бросились к морю. Мылись, оттирались песком... Все казалось – влип в кожу, пропитал до костей унизительный запах прокисшего мясного бульона. Потом всей мрачной компанией двинули в деревню. Десятилитровый баллон выпили на окраине и тут же взяли еще. Потом пили у костра. Висел в воздухе вопрос – зачем? Так славно протекал отпуск!

То было дело родственников, мента, команды спасателей – хотя спасти было уже некого...

И все же – там, где мертвой щекой прижался он к горячей глине, в каких-нибудь ста метрах от пляжа, там, в высоте, над фанерными грибочками, над киоском и лежаками, был уже другой мир. В этом мире он и погиб – нелепым альпинистом бархатного сезона, за призрачные наши ценности – свежий воздух да лунный свет.

Каким-то образом все сцепилось тогда, срослось в чудовищный живой ком: черные беговые точки внизу, убитые горем дрожащие старики, безумная, охрипшая от крика, невеста, вцепившийся в глину, белый, как бумага, мент, увязшая в песке машина «скорой помощи», чудовищное рыжее солнце и бледно-серое полуденное море...

Никто не успел этого осознать – лишь когда оглушенные и одуревшие на расплавленных жарой отвалах, по-муравьиному цеплялись друг за друга, за склон, за обмотанную веревкой изогнутую округлую личинку, – что-то открылось, только-только начало открываться...

Вечерами пили, днем купались и загорали. Разговоры все как-то сошли на нет. Вымученные шутки зависали в перегретом воздухе.

В один из самых последних дней малой притащил открытку – какой-то «вид» с дурацкой надписью: «Привет из...» – нашел на пляже. По его просьбе я сложил из глянцевой нечисти маленький симпатичный кораблик. Ветерок подхватил его и погнал в море.

Скоро и мы отплывем – на громадном, как теплоход, «Боинге», по всей вероятности – навсегда.

Разумеется, я оглянулся – на склон, на скалы, на белесое небо, на рощу, на ржавый снег, на порушенные вагоны, на Вонючку – как она течет в своей бетонной кишке под горбатым мостиком, услышал тихий, такой далекий стук колес.

Pro domo

Люди как люди выпали из положенного места. Меня не спросивши вынули. Живот надо мной взрезав.

Первые семь месяцев жил при Сталине, потом при Кагановиче, до самого 1991 г.

Пеленание практиковалось тугое. Ни рукой, ни ногой. Одна только голова – туда-сюда, на два-три градуса.

Мир тогда был очень твердым. Помню беленую, в один кирпич перегородку, за которой жила моя сумасшедшая тетя. Я наступил на крышечку от ваксы, которой папа как раз натирал ботинок, поскользнулся и врезался темечком. Перегородка загудела, тетя завывала, а я горько заплакал.

Другая тетя, молодая и красивая, повела меня кататься на велосипеде. Я был отважен и глуп. Полетел вниз по крутой улице. Педали били меня по ногам. Третье колесо наехало на ступеньки лестницы. Велосипед опрокинулся.

Тете дали капель. Меня отнесли в больницу и зашили голову.

На что ни налети, все было определенным, конкретным, реальным и до ужаса объективным. Самый воздух был тверд. И в нем обитали твердого характера мужчины и их боевые подруги. Типа тети за перегородкой, которая все ждала кого-то. С войны, должно быть. Хотя, может, и еще откуда. А я не был тверд. Я был мягок. По мне текли слезы, и я размазывал их по щекам нежными грязными ладонями. Которыми ходил по полу. У меня тогда было увлечение: я был собака. Я привязывал себя к батарее центрального отопления при помощи рябого пояска от мамино халата, рычал и лаял: Гав! Гав!

Взрослые не мешали. Они были на работе.

Собака не было протестом – думаю я сейчас. (Хотя, может, и было!) Просто я решил, что животному живется вольготнее, чем охваченному воспитательным учреждением «ясли-детсад». А привязанная собака к тому же исполняет меньше команд, чем непривязанная. Потому как не имеет возможности. Ни бегать туда-сюда за поноской, ни делать «фас!», ни ходить на задних лапах. Хождения на задних лапах старался избегать и когда отвязывал себя. Оставался в образе. Страдал «болезнями грязных рук». Там же, у батареи, засыпал. Или делал вид, что сплю.

В детсаде ходили строем, держась за руки.

За разговоры во время послеобеденного отдыха ставили на табурет: без трусов, на общее обозрение. Обозревающие молча лежали в своих кроватях, приходили к неизбежному выводу, что стоящий без трусов плох. Хотя некоторые из нас развлекались, демонстрируя друг другу органы, которые впоследствии стали половыми.

Дело было в том, что ко времени моего становления в этом мире, мир уже накопил многотысячелетний опыт управления собой. Это был наш мир. Его истина гласила: «Тот послушен, чья природа порочна!» За скотоложество давали восемь.

Боязнь собственной природы развила во мне робость. Все связанное со словом «органы», вызывало неясную тревогу. Лица взрослых, произносящих это слово, деформированные блудливой или испуганной улыбкой, пугали. При этом они оборачивались ко мне с неммым вопросом – а понял ли я в чем дело?

Я стал бояться темноты. Требовал не выключать на ночь самодельный папин торшер. Папа соглашался, но потом все-таки выключал. Не вставая, дотягивался до кнопочки. Они с мамой спали тут же рядом, на диване.

К семилетнему возрасту моя голова была покрыта многочисленными шрамами, шишками и выбоинами.

Школа обязывала: голова обрита наголо, но чтоб не как в армии! А потому лошадиная надо лбом челочка.

Все смеялись над моей головой. Кроме того, из-за моего роста по ней удобно было давать «щелбаны».

Форма одежды: кителя-фуражки, пояса с медной пряжкой. На фуражках – герб. На рукава – нарукавники, чтоб не портить. Сидеть за партой прямо. Руки – нарукавником на нарукавник. На партах не рисовать, не писать, не резать. По коридору не бегать. (А я побежал, и сбил головой с жардиньерки растение алоэ.) На прогулке ходить строем. Руки из карманов.

То были мудрые правила, ими по-доброму готовили детей к тому, что ждало. На службе, на производстве, в армии и на флоте, в тюрьме и лагере.

К четырнадцати годам я созрел. К тому, чтобы покончить с собой. Тогда прически были уже какие хочешь, но класс, где я обучался, поразило поветрием: брить голову. Неосознанный протест. Против всего. И все хотели, чтобы все были как они. Я старался. Но не смог. И моя вторично обритая голова подверглась щелчкам. Каковым еще до того регулярно подвергалось гипертрофированное самолюбие мелкого дохляка.

По нему щелкало всё: недоступные мне лично набухающие груди одноклассниц, спортивные достижения одноклассников, их же снисходительное хамство, чьи-то успехи и даже чьи-то неудачи.

Научно давила физика. Я интересовался ею исключительно из ненависти.

Физика утверждала твердость. Твердыми были калий, кальций и прочие химические вещества. Даже газы и те норовили: сублимация-возгонка и т. п. Я уже говорил о твердости воздуха. Мне лично было тяжело дышать им. А там пошли молекулы, атомы, электроны, ядра тяжелых элементов. И все они, без единого исключения, содержали еще меньшие части, тем самым продолжая свою вещественность в недоступные воображению глубины. Ядро атома и то делилось на какие-то нуклоны. Тоже вполне основательные.

«Когда же прекратится это блядство?!» – думал я. Когда уже этот козел физик в своем синем халате, напишет мелом на драном линолеуме классной доски: «Дальше Пустота!»

В которой уже не может быть законов. Ни физических, ни каких-либо еще. Потому что даже если они там и есть, то некому стоять без трусов.

Болезненный интерес вызывал магазин «Учтехприбор».

В магазине том продавались школьного формата телескопы и микроскопы, телефоны и микрофоны, вольтметры, амперметры и прочие штуки. При их помощи старались учителя сделать науку зримой и весомой, доступной не умам лишь, но чувствам учащихся. В полном соответствии с всепобеждающим ученьем, указавшим на реальный факт: «Материя дана нам в ощущениях!»

А я не верил. Ощупывая синяк под глазом, я смотрел в окно и, вглядываясь в окружающее, шептал: «Не материя! Не может такое говно быть материей!»

О, дайте мне её! Эту самую материю! Дайте пощупать, подержаться за нее. Обнюхать и надкусить!

Не дали, не смогли...

Не может даваемая материя вызывать чувство тупой скуки, звать человека в рошу у железной дороги, чтобы там накинуть на шею петлю из рыбацкой лесы-нулевки.

Нет, не материя то была, а пиздеж.

Моя сумасшедшая тетка умерла. А физика, между тем, продолжала свой научно-технический прогресс. Доказывала и передоказывала, открывала и закрывала, полемизировала и отрекалась. Словом – шла вперёд!

Я следил. Выписывал журнал: «Техника молодежи».

Тётка (молодая и красивая), сама научный сотрудник, поощряла мой интерес. И однажды, захлебываясь от радости, поделилась удивительным открытием замечательных светлых голов, каких (чтоб ты знал!) не так уж мало в этом мире.

То были уже не кварки с лептонами и фотонами, не почти что нереальные бозоны (пусть их существование измерялось 10^{-24} — 10^{-6} сек, за это время они успевали основательно изгадить мне жизнь), – нет, это были Струны! Стррруны! Музыкально звенящие, и музыкой той, прекрасной, божественной, мир и существует. Чего там только не было, в этой чудной теории! Десять измерений, а у нас, тут, четыре: вверх-вниз, в сторону и завтра! Остальные шесть мы, как оказалось, не чувствовали.

– Ага! – радовались мы с теткой, – значит, большая часть жизни от нас постоянно ускользает, а там (то есть, тут!), в тех шести, может, все и не так. А мы не чуем! И, конечно, не понимаем. Понять не можем! Ибо пищу разуму дают чувства. (Эту часть теории я хорошо понимал своей головой – сильно пострадавшей от окружающей нестигаемо-твердой среды.) Струны постоянно вибрируют, изгибаются и скручиваются, как хотят, а у нас тут одни показатели – эти самые кварки-фотоны. Энергия которых на деле не что иное, как волюнтаризм тех же никем и никак не воспринимаемых струн. А это значит, в основе всего самое настоящее «как хочу, так и верчу!» Что и требовалось доказать. И еще один приятный момент: всех этих мюзонов, которых уже поймали на ускорителях, – тут же распотрошили и описали вдоль и поперёк. А в невидимых измерениях есть такие х-ёны (забыл, как их), которых поймать нельзя никак и в принципе. Не успеешь его засечь, а он уже неизвестно где. И там, может, спит, или курит. Так что какие ни строй ускорители, хоть до неба, а будут они не лучше той чепухи, что продают на пл. Космонавтов 6, в том самом «Учтехприборе».

Верно подмечено, что мысль человеческую нельзя остановить. Всё-то она блистает, сигает в высь!

Уютно ей над собой! И с нейтронами, с кальцием или с боженькой – все равно чувствуешь, что ты не говно на палочке, а человек! А у меня не было ничего.

Тётка тёткой, а для полного осознания теории я не имел наготове никакого адекватного математического аппарата. По алгебре-геометрии твердое «три». Кроме того, критерием любой теории является практика. А на практике я по-прежнему заваливал и пересдавал экзамены, давил прыщи и подглядывал в раздевалке.

С Боженькой у меня тоже не сложилось. Во-первых, как ни верти, он всё это придумал и сказал, что хорошо. Но не в этом дело. (Может, плохо мне, и я сам виноват. Ведь может же?) Самым поганым было, что он, Боженька, был везде и всегда. А я к тому времени полюбил уже бывать там, где нет никого. Опять же у железной дороги. Зброшенные пути, кусты, вагоны горелые. Сядешь на ступеньку, закуришь – вокруг ни слова, ни вздоха. Но бывало – мерещилось, что кто-то на тебя смотрит. И осуждает!

Лучше всего было ходить с теткой в парк. Там, среди кустов, с охапкой желтых листьев в руках, она восторженно говорила и говорила о струнах, о музыке сфер, о Шостаковиче с Моцартом, а сквозь деревья виднелось здание рентгенинститута, где её жестоко обидела объективная реальность. Но мы туда не смотрели.

После смерти Кагановича я махнул х-ёном в другие измерения. И там налетел головой на хорошо знакомые физические константы. Повсюду практиковалось тугое пеленание мозга. С экранов улыбались кагановичи.

Все вокруг хотели, чтобы все были как они, но я упрямо стоял без трусов. А хотел спать и курить.

Боженька по-прежнему предпочитал заброшенные места. Я уже притерпелся к нему и мысленно называл Бомженькой. Иногда казалось, что он мне подмигивает.

С тех пор много чего утекло в черные дыры, много чего распалось и чего синтезировалось.

Голова оголилась сама, а я так и не научился ее беречь.

Главное, удалось покончить с собой. Пусть лишь частично. Но я продолжаю. Теперь уже мало от меня осталось... Эдакие изгибы. Спирали да вибрации. Энергетический волюнтаризм. Кручу-верчу. Черт-те что с теткой и её струнами...

Мы летим в черноте, из одной пустоты в другую. Одной рукой она ухватила меня за шиворот, другой прижимает к животу свои листья.

А вокруг – дырка от бублика, чистейший вакуум с одним «у», картина Малевича в пересказе Кагановича...

А никакая не материя.

Но меня это устраивает.

Читая Кьеркегора

Огородики, сарайчики, некрашенные заборы, подсолнухи квелые рядами, сухой лужок и коза на нем. Тополя вдоль дороги – серые, пыльные, неживые какие-то.

Глупо день начался, ночная духота утомила до того, что с утра выпил полстакана чаю – и все. Трясет автобус, раскачивает. Качается впереди горянка-колхозница в чем-то серо-желтом, и пахнет ею: чуть затхло одеждой и потом. Громыкает разболтанный остов, скрежещет железо. Промчался встречный грузовик, рвануло в открытое окно горячим ветром, пылью и навозом – едко и душно. Видимо, в кузове перевозили скот...

Когда едешь вот так в первый раз по незнакомой местности, оторвавшись от привычных забот, выбившись из ритма жизни, набившей уже оскомы, в голову лезут эдаким невнятным комом странные, будто чужие, даже не мысли, а невесть что.

И сам не поймешь: видится это, слышится, или еще как представляется уму...

И, бывает до того впечатляет, что кажется: никогда уже не вернешься туда, откуда выехал. Что будешь теперь долго-долго болтаться в этом автобусе по раздолбанному шоссе, пока не доедешь до невиданного никогда поселения, сойдешь там, и побредешь к неизвестному будущему в виде незнакомых жутковатых мужчин и странных, бесконечно чужих женщин. Войдешь в полузаброшенный, не тобою обжитой дом, гулкий и темный, и будет он пахнуть по-особому, пылью и тленом. И осядешь там уже навсегда, навечно.

Помню, доехал, нахлебался посреди базара воды из крана – древняя колонка-насос с отполированной до блеска ручкой. А мысли шуршали сухонькие: о том, что вода на побережье далеко не лучшего качества, а здесь и вообще... Ржавчиной отдает, а может и чем похуже. В квартире, кстати, то же самое. За такие деньги притом! И от моря вовсе не так близко, как показалось. Сперва с горы по тропе вдоль кладбища, а потом до пляжа еще минут двадцать.

Прошелся туда-сюда по рядам, но ничего не купил – как-то не решился, все казалось, что если поискать, то можно найти лучше. У самой ограды остановился и долго стоял. Глядел в просвет меж дальних домов. Море было серое. Все чувства как-то притупились. В глазах потемнело, а в уши будто напихали ваты. Кажется, такое состояние называется запредельным торможением. Тускло и глухо было на этом базаре.

Вокруг на разостланном поверх асфальта картоне горами капуста, кабачки-баклажаны, и прочее такое. Зелень, куры ощипанные и так, в перьях, на вешалках одежда дешевая: платьишки, трусы-бюстгалтеры – все белорозовое, купальники разноцветные, даже черные в белую полоску – типа тельника моряцкого с якорем на левой груди – золотом!

Странно, как иногда все запоминается! И почему так? Вот, будто и сейчас стою там.

В авоське у меня Кьеркегор, «Страх и трепет». С такой книгой и в сандалетах на босу ногу в самый раз выпить пива у ларька – но его нету. Пыль клубится в солнечных лучах, пот струится по смуглым лицам.

Мать жена и теща замыслили борщ. Все трое – редкий случай.

Отец спит и ест. Так он понимает отдых. По вечерам читает на веранде с видом на гору. Гора ничего себе, наверху скалы. Надо бы сходить.

Косовский с группой, видимо, уже спускаются. Скоро телеграмму отправят – об успешном возвращении в базовый лагерь. Не так уж далеко отсюда – час лету. Там, где меня нет. И не будет уже.

Пива тоже нет. Есть мать, жена и теща. Борщ будет – список ингредиентов в кармане. Прежде всего – свекла...

В семь мать с тещей уходят в санаторий на терренкур. Там все сосчитано: время, расстояние и пульс. Жена работает с глухой клавиатурой. Какое счастье, что пианино. А ведь многие играют на сравнительно небольших инструментах. Типа кларнета...

Отпуск утерян, как и многое другое... И Косовский затаил обиду. Отражится в институте. «Некомандное поведение». Главное всегда – интересы группы, коллектива. Потому чем он, коллектив, меньше, чем уникальней его задача, тем острее эти интересы, тем выше требования к членам. А я все еще член. Несмотря на неучастие. Зато вновь восстанавливается семья...

Вдоль по рядам проплывали и липли к лицу семена в белой опушке. Несло их с холма, заросшего побуревшим от жары бурьяном, и были они пахучие и горькие на вкус.

На картоне сидела баба, методично обрывала с капустных кочанов желтые листья и складывала в кучку, каждый раз прикрывая ее подолом.

Картон они таскали от магазина, кто-то им там отдавал ящики – по своей цене. Хочешь с удобствами – плати!

Как же они галдят! Восток! Сушая Азия. Хотя еще Европа, по сути...

И голос женский все повторяет: «Молодой человек, а, молодой человек!»

А вокруг – никого. Мужчина в желтой соломенной шляпе и его приличная жена.

Вот снова: «Молодой человек!» И женская рука мелькнула, будто из-под земли, у самых моих колен – сухая и смуглая, с обручальным кольцом.

Седая, в светлом платье, а ног – нету!

Рядом – сумки, авоськи, все туго набито: овощи, хлеб, коробки из магазина – макароны, что ли...

– Молодой человек, помогите пожалуйста, мне до такси только... Это там, у входа, то есть у выхода, на другую сторону!

Как-то смазалось все: и базар, и море, и утро. Будто и не подсакивал на ухабах автобус, а так вот сразу – эти небольшие карие глаза и розовый платок на шее, точь-в-точь вылинявший добела пионерский галстук.

Сам не знаю, как это получилось, оказался вдруг на корточках, лицом к лицу. А она улыбается вежливо и говорит: «Помогите, молодой человек, сумки донести, а я уж доскачу-допрыгаю, как-нибудь!» – и смеется.

И вижу – у нее из дощечек тележка сделана на колесиках от детской колясочки, только ехать по ломаному асфальту никак.

Взял авоськи и сумку, – всего четыре места. И как она только с этим всем управлялась?

– А мне мужчина донес! – словно в ответ проговорила она, – Так и сказал: до «птицы-ййца» только, а то у меня смена! Хороший такой человек!

И пошли – я с сумками, а она едет и правда – через рытвины на руках перескакивает – тележка у нее как-то подвязана к телу, разговаривает и смеется!

– Я с утра на базаре! Внука вот в садик свела, – и сюда, скупиться-то на неделю надо!

Зять у меня сукин сын, алкоголик. Лечится, правда. Без толку, конечно. Несчастный человек. А был ничего себе... кто же мог знать! Дочка у меня... хорошая, бесхребетная только, знаете ли... другая бы ему. А я что могу? Я и так обуза... Они с дочкой работают. Внучок зимой болел. Дети болеют – им переболеть нужно, это так, это ничего!

А я...

– Давайте тут передохнем, я вам вот минеральной возьму!

– Вот еще, будете вы тратиться!

Давно все это было. Здесь, на набережной такая же тень, и бывает, семена летят, и так же липнут к лицу. И море то же самое будто, только с той, с другой то есть, стороны. Берег, что когда-то называли южным, теперь далеко на севере. И если смотреть на горизонт, можно

мысленно увидеть ту самую гору, на которую так и не сходил, и поселок под ней, и базар, верно, на том самом месте, только асфальт поновей. Хотя все может быть...

Я так и не дочитал тогда едва начатого Кьеркегора, некогда было, времени так и не нашлось, – никогда. Но кое- что запомнил. Фразу, которая почему-то засела намертво в моей голове. Я прочел ее еще в автобусе: «То, чего достигали некогда достойнейшие люди, – с этого в наши дни запросто начинает каждый, чтобы затем пойти дальше».

О чём он так сожалел? О том, что философия из действия обратилась в словесные упражнения? И потому нет и быть не может никакого «дальше»?

О чем сожалею я сейчас? О том, что, не пережив, нельзя понять, что жил?

Еще не поздно!

Adverso flumin

На подоконнике стоят пакеты с детским питанием, рядом чашка, в ней пластмассовая рюмка, а в рюмке – пипетка. В углу банка из-под кофе. В другой банке горелые спички и мятый коробок. Тут же миска с сосками. Справа, на плите, кастрюля с водой. Что-то я разогревал в ней... а, ну да, бутылочку. К щеке прислонил – в самый раз!

За окном идет дождь.

К чему это всё?

Вот серебряная капля шевельнулась, слилась с другой, побежала по стеклу причудливым своим путем. Слышно, как жиденькая манная каша перетекает из бутылочки в тельце моей дочери. Тихое побулькивание, пыхтение да почавкивание.

«...аналоги производятся на Западе и Востоке...» – читаю я сквозь прутья кровати газету, в которую завернуты грязные пеленки. «...лежит в области применения», «...трече стран», «...иролубие...» – иролубие! – бормочу я себе под нос, – иролубие!

Когда-то давным-давно попались мне мемуары некоего Лонгсдейла, разведчика. Он там, на Западе, много лет изображал бизнесмена, да так, что вжился в роль и дорос до миллионера. А был резидентом и коммунистом в душе. А кроме того изобретателем – запатентовал какой-то электронный замок и получил медаль. Королева дала ему грамоту «За развитие английской промышленности и предпринимательства». Доходы его фирмы шли на советскую агентуру. Короче – знал, что делал. Потом его предали. Был сенсационный судебный процесс. Мировая пресса отзывалась о Лонгсдейле с глубочайшим уважением, – как о человеке талантливым, мужественном, до конца борющимся за свои убеждения. Но это еще было не «до конца».

После отсидки и обмена на вражеского агента герой возвратился на родную землю. Его определили ездить с лекциями по разным предприятиям, рассказывать об ихнем образе жизни и частично о работе наших органов за рубежом. На заводах и фабриках он многое увидел, осознал, и в связи с осознанным вскорости умер от инфаркта.

Я не умру от инфаркта. Отец, бывало, говаривал: «такой-то (следовала фамилия гения) на твоём месте сделал бы то-то и то-то...»

Я знаю, Лонгсдейл на моем месте развернул бы газету и прочел бы не «иролубие» а «миролубие», и вообще дочитал бы до конца. И запомнил бы.

Я тоже запоминаю – но то, что никому не нужно. В первую очередь мне. Помню сколько ступенек на последнем марше черной лестницы у нас в доме, и окно на площадку, забранную ржавыми толстенными прутьями. А за ними – почерневший от пыли хлам. И там, в окне, ничего не изменилось за последние двадцать лет. А в городе тем временем взметнулись к небу. Да, много чего появилось в городе, много чего исчезло.

«Есть ли на свете идея, ради которой стоило бы не то, что бороться, но даже шевелиться?» – думается мне.

Стоя на остановке троллейбуса, я смотрю на цоколь фонаря. Отполировано до зеркального блеска. По замыслу архитектора снабжено скругленными скамеечками, якобы для удобства прохожих, но скорее, чтобы просто было красиво и богато. Редко, когда кто сидит на них – слишком близко от проезжей части. Да и мягкие части не любят полированного гранита.

Но дело не в том, что на скамеечках никого. Дело в серой пыли, скопившейся на зеркальной поверхности. На ней какие-то следы, не то насекомого, не то птицы... Или рыхлого бумажного шарика... На шарике малиновая помада – уголочек чьего-то рта... Все это медленно намокает в микроскопических каплях зимнего тумана. Тут же горелая спичка и голубиный помет. Вокруг кучки расплывается серебристое пятно.

Сам не знаю, зачем, я наклоняюсь, чтобы рассмотреть его, и вижу: из темной глубины камня всплывает лицо.

Без колес

На секунду – грузовик с открытым бортом, в кузове баба раскорякой, мешок между ножищ в черных ботах. Р-раз – захлопнуло борт рукой шоферской, и одна голова – в бело-коричневую клетку, платком морда обвязана, чтоб не лопнула в случае чего, всякое в дороге бывает... Дрен-дрен-н... Др-rrrrr... И укатил...

Остались лишь четыре огромных дерева неведомой мне породы – не то платаны, не то еще что. И глухая под ними тень да травка чахлая, мятыми кустиками.

Сил лишился вдруг, и непонятно от чего. Раньше такого не бывало. Чуть не свалился. Присел на землю, спиной к черному стволу. Огляделся, вижу, остов без колес, устроился на ободранном сидении.

Гудит над головой... Платан? Скорее, тополь. Глаз не разлепить... Может, это уже сон.

Бывший ЗИЛ-157. Одна дверца приржавела, не открыть, другой вовсе нет. Двигатель мертвый, голый, набило в него жухлой листвы, древесного мусора, бог знает, чего. Но машина – машина и есть, и кажется мне, будто еду, еду, рулю себе в сомлевшую даль. И будто бы впереди леса-перелески, белые облака, золотая пыль, и все такое прочее. А сам засыпаю, опасное это дело – спать за рулем.

Я куда ехал? По делу. Торопился, задницей автобус подталкивал – чтобы вперед побыстрее. Потом на попутку. Заказец у меня. Вкусный, богатый. Всё уже подмазано, чин-чинарём. Но – устал. Морально. Нравственно. Хотя какая у меня нравственность?

Краем глаза заметил: идет ко мне человек. Босой, бесцветные брюки ремешком стянуты, майка голубая, всё в черной смазке, на вид – механик. В пальцах банка двухлитровая, в ней – желто-бурая жидкость, количеством литр примерно. Другой рукой одобрительный жест делает.

– Я уважаю, который в машину сел. Ты сиди, пива попей, отдохни! Оно и попустит.

Обычайшая селянская физиономия, но... Глаза ненормальные. Видимо, когда-то были голубыми. Лыдистые. И льется из них большой зимний свет сквозь сплошную облачность.

– Командировочный? Сам был таким когда-то. Я тебя сразу опознал. Пей, пей, пиво хорошее, бочковое. С Лубнянской привозят. И спи! Спать тебе надо, вот что...

Чудак? Из совхозных мудрецов? Не хватало еще, чтобы поучать начал.

– Да, крутился по жизни, туда-сюда, как маленькая пиписка в большой манде! Всего успеть хотел! Одна жена тут, в Одессе, другая под Рыбинском. И дети. Вахтовым методом работал... Отсидел трёшечку. А машина эта – что? Разумение о бессмыслии перемещения по плоскости земного шара. Когда сидишь вот так, в мутные стекла глядя, едешь к чему-то такому, что тебе без пользы, но без чего ты – не ты. А я пойду.

И пошел – к дощатому сараю. В распахнутых его дверях стояла густая тьма, а крытая толем крыша сияла расплавленным золотом, било в нее низкое уже солнце.

Я стал пить пиво. Оно было холодное, в самый раз.

Восемь лет назад у меня была жена. Она уехала на юг, в санаторий, лечиться по-женски. А я заказ окончил и отдыхал. С одной знакомой. А тут звонок в дверь. Открываю – стоит, с пузом. Пузо невероятное, хотя у худеньких оно так. Узнал не сразу. Пришлось впустить. Еще зимой на остановке «Хлебзавод» встретил. Она как раз с ночной смены вышла. Ничего себе. Голубоглазенькая. И вот, пришла. Комедия ошибок получилась, с элементами трагизма. Моя знакомая не растерялась: «Я как жена имею право знать, в чем дело!» Выручить решила. «Это что, – говорит, – угроза алиментами?!» Потом оказалось, у них там на заводе по случаю рождения ребенка одиноким квартира полагалась однокомнатная и прописка постоянная. Ну, она и надумала оставить. Сыночек у меня образовался. Славик. Так она в своем беспомощном письме потом уже сообщила. На всякий случай. Может, чувства проснутся отцовские, мало ли что...

А насчет пиписки очень и очень похоже! Лет пятнадцать или больше уже так. Одни заказы и активный отдых. Ну, и жена – была. Крутишься, крутишься...

Когда проснулся, солнце уже садилось – как раз над самым горизонтом. Мысль пришла: темп-то потерял! В правление идти – все уже по домам, чай-водку принимают. Идти ночевать надо, по хатам проситься в село... Вылез из кабины. Тени тополей вытянулись далеко в поле, на обочине дороги будяки в рост человеческий, сыростью потянуло... Из гаража веселье донеслось, лампочка желтенькая засветилась. Двинул туда.

Все завалено железом, и пахнет железом, ржавчиной. И чем пахнет обычно в гаражах. А еще вареным картофелем, табачищем, водочным перегаром.

– О, явился не запылится! Эй! Самашечий! Вон он, приятель твой пришел! Самашечий – это фамилие у ево такое. Налили. Выпил как-то машинально. Закусил соленым огурцом подсохшим, – лежало там на газете.

– Садись, расскажи, кто такой, откуда-куда-зачем?

– Не лезьте, видите – человек в задумчивости, плохо ему.

– Самашечего кадры... Вы только не обижайтесь, это мы так, шутка такая.

Через час повалился головой на руки.

– Спать в машину иди! Под звезды! Там одеяло ватное в кузове постелено для таких!

На рваном, с клочьями желтой ваты, огромная сельская подушка в рябом напернике, и запах чужого пота. Но воздух свежайший, ночной. Звезды и правда были – сквозь листву, неясные, дрожащие. И снилось – ребенок маленький топчет, бегаёт где-то, а где – не видно, и смех тихий такой, робкий.

Наутро пошел пешком обратно – на станцию.

Недельная практика по-бельгийски

Подкатил автобус, скользнула в сторону массивная дверь. Появился улыбающийся человек в шортах, за ним еще один, потом женщина в голубом сари и темных очках. Девчонка двинулась к ним. Голый мальчик держался за ее майку. Остальные столпились вокруг, что-то лопотали, протягивали грязные ладони...

Блондинка в сари открыла сумочку. Он рванулся вперед, сквозь толпу, нелепо споткнулся, закричал и взмахнул руками. Его заметили. Блондинка захлопнула сумочку. Симпатичный бородатый мужчина в вязаной шапочке, чем-то похожий на Рассела Кроу, подхватил ее под руку. Один за другим они поспешно воротились в прохладное нутро.

Автобус снялся с места и уплыл в расплавленную даль.

Он пошел обратно – к автостанции. Попрошайки проводили его внимательными взглядами. Среди них он заметил и пару подростков покрупнее, с озабоченными, деловитыми лицами.

Вернувшись, стоял в сторонке, некоторое время разглядывая киоски. Там были, – он хорошо это видел, – бутылочки спрайта, пепси-колы, баночки энергетического напитка «Red Bull» и большие светлые бутылки минеральной воды «Himalaya».

Зашел сзади, – там людей было поменьше, увидел место, где лежал утром. Вымытый асфальт уже просох...

Он помнил, как разлепил глаз, – второй не открывался. У самого носа была лужа. Оттуда мерзко воняло. В луже виднелись какие-то малоприятные комки, вокруг сновали мухи. Мух было огромное количество: синих, зеленых и каких-то еще. Таких он прежде никогда не видел. Худые, длинноногие, с золотистыми глазками. Мухи вонзали в лужу хоботки. Питались.

Голова болела. В ней что-то перемешалось, и от этих перемещений вся плоскость, на которой он лежал, накренилась, и ему казалось, что он вот-вот съедет по ней куда-то. И тогда от страха у него сжимался анус.

Когда через некоторое время он вторично пришел в себя и огляделся, – уже сидя, то постепенно понял: лужа была не чем иным, как его собственной блевотиной.

Он попытался нащупать мобилу, но обнаружил, что брюки исчезли – на нем были лишь трусы от «Koprad», с красивой, вышитой на самом передке, золотой осой. Это была дорогая объемная вышивка в технике «террапунто». Трусы, впрочем, тоже были заблеваны, на них налипла грязь и какие-то стебельки.

Вместо кроссовок на одной ноге повис полуспущенный носок, второй валялся рядом на асфальте.

Не было ни майки, ни накидки, ни чудесной шляпы «North Face». Он снова полез в карман несуществующих брюк и, вторично не обнаружив телефона, впал в отчаянье. Казалось, из него выкачали весь воздух.

Его тошнило еще когда только выехали из Качари, – здоровенный зеленый ком, купленный Каспером перед самым отъездом, уже заметно похудел. Кроме того, они все время пили пиво. Водителю и его дружку тоже дали – дружок сразу присосался, а потом скрутил маленький аккуратный косячок, дал дернуть и водителю – тачка пошла веселее...

Вообще все было не то чтобы недорого – почти даром! Кроме, конечно, отеля.

Пообедали во вполне приличном кабаке. И тоже очень дешево. Где-то неподалеку, помнится, взяли еще пива.

Потом они с Каспером играли в «Pro Zombie Soccer». Сзади тоже играли во что-то, – оттуда долетали выстрелы и взрывы, а потом оба заснули.

Когда стали приходиться SMS от Куику, он все пытался ответить и ржал как сумасшедший.

«Я тебя очень люблю и купила себе новый планшет, но после отнесла его назад, потому что Элла купила «Xperia™ Z2», и мы с ней решили, что мне нужен такой же, – писала Куику.

Он что-то ей ответил, – насчет того, что они едут в автобусе.

«Ты написал херню но я все равно тебя люблю но не пиши такую херню» – продолжала она. И он решил позвонить ей и объяснить, что не может попасть пальцем в кнопки, но из этого тоже ничего не вышло.

«Мы едем в авто», – попытался он снова.

«Ты пишешь херню ты обещал мне не курить это говно, но ты опять куришь говно и наверное пьян раз пишешь второй раз такую херню».

Потом он опять заснул, а когда проснулся, все вылезли наружу. Они встали в ряд, на шоссе, и мочились в канаву. Впереди стоял синий автобус «Himachal Pradesh Himalaya», оттуда тоже вышли, и тоже мочились, стоя в ряд. А женщины, из того автобуса, отошли в сторону, шагов на тридцать, и мочились там сидя, пытаясь укрыться за невысокими кустиками.

Вернулись в тачку и забили еще косяк – огромный! Похожий на хрен знает, что...

Он стал показывать Касперу всякую всячину, что купил для Куику в Раджпуре – тоже очень дешево, – кроме каких-то бус из почти драгоценных камней с фигуркой богини Дурги, за которые содрали тысячу девятьсот пятьдесят рупий (смех, да и только!) – с маленькими черепами и молоточками в шести бронзовых ручках, но Каспер, который тоже все время ржал, вдруг стал серьезным и сказал, что тут наебка, и камни – стекло.

Потом выяснилось, что они заблудились. Водила сказал, что надо было ехать до Готани, а там свернуть направо, а его дружок заспорил. Каспер сказал, что они оба – мудаки, и сейчас, вот, он включит GPS, и тогда... но включить ничего не смог и сказал, что тут нет связи. Но на деле оказалось, что уже заехали в другой штат, где не действует его местная карточка, которую он купил еще в Дели. В конце концов было решено ехать дальше – там будет видно...

Потом пробило по хавке и сожрали почти все, что взяли с собой в автобус.

Было уже совсем темно, когда они с Каспером вышли помочиться еще разок. Остальные окончательно вырубались.

Рядом, на крошечной автостанции, где страшно воняло, – они с Каспером еще подумали, что у них там подгорели стейки, – он купил себе пару чапати у каменной печи, это было очень вкусно. А потом, сам не зная, как, очутился на самом краю, у бетонной колонны, за которую некоторое время держался руками. В бледнеющем по мере удаления от его ног электрическом свете различимы были переполненные мусорные баки. Там что-то шуршало, вдруг вспыхивали яркие зеленые светляки – очень неприятные на вид. На горизонте за невысокой порослей кустами грядой тускло отсвечивала река.

Потом пошел к автобусу. Его чуть покачивало, и каждый раз из горла, сам по себе, вырывался странный визгливый смешок. Так, посмеиваясь и покачиваясь, миновал стоянку и дошел до самого шоссе. И еще некоторое время глядел на пробегающие мимо автомобили, автобусы, длинные фуры с прицепами...

Потом сообразил, что прошел мимо и вернулся на стоянку. Там было пусто. Светил одинокий фонарь, вокруг него кружили мотыльки.

Потом, уже на автостанции, он метался среди жующих пассажиров, задавал бессмысленные вопросы, – насчет того, что теперь делать, вытащил телефон и – проклятье, проклятье! – никак не мог вспомнить, куда захерачил номер посольства. Потом стал звонить в полицию – но из этого ничего не вышло.

«Мразь поганая Каспер, – не отвечает! И все они, пидорасы, допились-докурились до опизденения... Водители хреновы, ни хера не проверили, что он-то, остался! Что он сейчас, вот тут, как мудака, и даже позвонить не может.

Хренов «Nokia Lumia»... Возможно, снова не попадает долбаным пальцем куда надо.

Он попытался собраться, вытянул вперед руку – и увидел, как подергивается в ней, словно ему вкатили дозряк, телефон.

Он очутился между тем у той самой колонны, где стоял до того. Он сразу ее узнал!

Откуда-то сбоку робко выдвинулась тощая фигурка.

Она вежливо улыбалась, и вся изгибалась, как бы мерцающая в голубоватом свете ламп.

– Кэн ю хелп ми? – обрадовался он. – Хэлп, хелп! – ответила фигурка.

– Намбэ, намбэ оф полис, плиз! – сказал он, передавая маленький светящийся приборчик, – и с удивлением обнаружил, что фигурка раздвоилась. Там появился еще один тощий человечек.

Человечки посмотрели друг на друга. Тот, что держал телефон, робко шагнул назад. Он двинулся за ними, сошел с асфальта на усыпанную чем-то мягким землю, что-то, кажется, сказал. Человечек шагнул резвее, развернулся и двинулся в темноту. Ничего не понимая, он рванулся, схватил рукою за одежду...

В голове что-то ослепительно вспыхнуло...

Вообще-то он продавал оборудование для игры в регби: шлемы, латы, похожие на длинные дыни мячи. Всё высшего качества, от «Wilson», «Gilbert» и т. п. Покупатели были классные, в основном, парни. Находил с ними общий язык. Хотя сам никогда не играл ни во что кроме как в покер и безик. Просто научился работать, – как следует и с огоньком. Помнил все результаты последних матчей, фамилии знаменитых игроков. Знал их в лицо. Дома, в клозете, у него всегда висел свежий календарь с их белозубыми тупыми пачками. У него был нехитрый прием. Он изобрел его в тот самый день, когда заметил, что здорового рыжего верзилу, по имени Жильбер, приятели называют Тони Вудкоком. С тех пор, обнаружив, хотя бы самое отдаленное, внешнее сходство очередного мордатого дебила с какой-нибудь звездой, он, как бы случайно, упоминал забитые тем знаменитые мячи, обалденные прорывы и тому подобное. Потом сам удивлялся – до чего часто это срабатывало! Люди охотно покупали у него, а потом заходили снова и снова.

Сама игра вызывала в нем отвращение – там слишком близко сходились, грубо хватили друг друга лапищами, толкались, подсекали, валили наземь...

Он занимался йогой. В светлом, хорошо проветренном зале, на специальных ковриках, сидели люди в белых пижамах. Перед ними, на своем коврике, размещалась девушка-инструктор.

Иногда – учитель. Индус из Кашмира, знаток Вамака-Тантра, мастер Трика-йоги. Он являлся в оранжевой одежде, с трипундрой на лбу.

Девушка демонстрировала асаны. Осваивали их постепенно, без боли. Знакомились с двадцатью четырьмя правилами приема прасада – чистой, божественной пищи. Разучивали мантры.

Мастер, Шри Раманатх Сатъя Авалачитхвар, говорил о медитации, пранаяме и дхиане, – вещах хоть и сложнейших, но ведущих к полному просветлению, и доступных, притом, любому.

Ему нравилось вести здоровый образ жизни, загорать под кварцевой лампой. Он отпустил длинные волосы и на занятиях закалывал их на макушке в большой пучок. Новые ученики смотрели на это с уважением. Было здорово! У каждого, – на этом особо настаивал мастер, – уже в настоящий момент, наличествует полная свобода. И потому – свой особый путь. Шива – в каждом живом существе. В сущности – и в неживом тоже.

Поэтому, что бы с нами не происходило, – все путем!

А курение, кстати, у кого оно уже наличествует в настоящий момент, вполне может стать неким этапом, через который проходит садху в своем непостижимом, блистающем восхождении!

За несколько лет преподавания Трика-Йоги в Брюсселе, учитель освоил и французский. – Шри-Бхагван! – восторженно восклицал он, – с ударением на последнем слоге.

Лицо было разбито, – очевидно, ударом ноги. Прокушенный язык распух во рту и едва шевелился там наподобие засыхающей на песке полудохлой рыбы. Челюсть словно бы покинула свое место и, казалось, отодвинулась немного вправо. Он попытался сплюнуть какие-то сгустки, но это вызвало лишь невыносимую боль.

Болело и в боку – при каждом вдохе. Видимо, были повреждены ребра. Одно лишь выпало из памяти: как прополз те несколько метров до асфальта.

Он снова бросился к автобусу, но там было полно индусов. Они вытаскивали из раскрытых багажников свое барахло: бесформенные узлы и затертые чемоданы с подвязанными к ним тюками и разноцветным тряпьем. На крыше уже сидели, – и кидали оттуда прямо в руки.

В глянцевином стекле он разглядел нечто жуткое. Длинные волосы сваялись в безобразные космы. Левая щека распухла, из незакрывающегося рта свисала нить слюны. Бледный, весь в потеках грязи лоб пересекал багровый рубец. Нос же был рассечен чуть пониже переносицы, оттуда сочилась бесцветная жидкость.

В руках он держал носки.

Вокруг станции слонялись какие-то дети. Особенно, как ему показалось, неухоженные и грязные. При появлении автобуса они моментально сбивались в кучу и кидались к передней двери. В остальное время сидели или стояли неподалеку, бросая по сторонам озабоченные взгляды. Он пытался думать: «Каспер, наверное, уже проснулся, но может, еще спит. Если уже заметили, что его нет, то, верно, звонят во все колокола. Только вряд ли знают, где именно все было, когда именно он... когда...»

От невыносимой жары мутилось в голове. Мучительно хотелось пить. Тело облепила серо-желтая пыль, постоянно вздымаемая множеством ног.

«Вот уже скоро 11 часов, как во рту ни гребаной капли воды», – время он определил по часам, висевшим на станции, когда сделал первые попытки заявить о своем бедственном положении.

Когда пришли те трое и стали раскочегаривать печь, да сыпать муку в сверкающий двуручный котел, он, набравшись сил и решимости подошел было к ним и. Невыразительные звуки, вылетающие из его рта, сперва не вызвали у занятых работой людей никакого интереса. Затем один из них поднял голову, но тут же снова погрузил взгляд во внутренности котла.

В конце концов они оставили работу и с угрюмыми лицами стали что-то внушать ему, выразительными жестами указуя на дальние кусты.

Потом, когда появились первые пассажиры, один из тех парней взял его не больно, но крепко, за руку, отвел шагов на пятнадцать от станции и толкнул вперед, а когда он попытался вернуться, встал на пути, захлопал сердито ладонями по ляжкам и затопал ногами.

Вот тогда-то он окончательно потерял себя. Худые, топочущие в пыли ноги и громкие шлепки вызвали настоящую панику.

После этого он еще какое-то время слонялся вокруг, пытаясь привлечь внимание пассажиров, но это так ни к чему и не привело. Люди были увлечены едой, разговорами, насущными своими проблемами. Он еще ничего не понимал, суетился, высматривал кого-то в толпе, кидался к автобусам – никто вокруг не обращал на него ни малейшего внимания. Тут, как и в

Раджпуре, да и вообще повсюду, полным-полно было полуголых неопрятных людей. Многие из которых имели к тому же такие же длинные грязные космы.

Где-то ближе к полудню он увидел белого человека, – блондина в черном жилете, с веселым пшенично-синим ирокезом на голове и многослойным ожерельем из сверкающих бус, металлических крестиков и свастика на голой груди. В «Лендровере» сидели еще двое, вполне нормальные люди... Он кинулся к ним. – Хелп ми! Ай эм турист фром Бельжик! – кричал он, – сиплое, устрашающее мычание вырывалось из его рта.

Ирокез прыгнул в машину. Вежливо заурчал мотор.

Он вцепился было в ручку, но тот, что сидел впереди, открыл дверь, что-то сказал и захватил ему в лицо открытой ладонью. Какие-то три кратких слова. Он как-то раз уже слышал их, и ему объяснили... То было известное русское ругательство.

Попрошайки затеяли легкую потасовку. Стоявший в стороне костлявый мальчишка заметил его, издал возглас и указал рукой. Они замерли, обрадованно загалдели и двинулись к нему. Деловитой походкой. Словно бы о чем-то припомнив, отложенном ненадолго. Передние двое были покрупнее, почти с него ростом, – те самые. Один из них нагнулся и поднял палку.

Полуголые костлявые недомерки окружили его и пинками погнали прочь от остановки, от бутылочек с водой, от шоссе. Он жалобно мычал, хватал их за руки, но получил палкой, – несколько раз по спине и раз по голове.

Наконец он свалился на песок, где его еще некоторое время пинали ногами – это было почти не больно. Он сжался в комок, закрыл голову руками и подтянул колени к животу, но его уже не били, кругом было тихо, лишь чудовищная вонь плыла у самой земли.

Во рту был песок. В голове тяжело бухало, красно-зеленые волны перекатывались перед глазами. Он вдруг понял, что никто, никто в целом свете, не знает, что он лежит вот тут в кустах, что никому нет до того дела. Что если он в ближайшее время не доберется до воды, то всему конец.

Смрадный дым полосами завис в зарослях. Ужасающий запах заползал в ноздри, в самый мозг, вызывал безнадегу и смертную тоску.

И вот, когда он лежал скрюченный, вышвырнутый отовсюду, наподобие абортированного зародыша, первая за долгое очень время, появилась мысль – вполне зримая, тускло мерцающая... Вода! Очень много воды! Как он раньше не мог того сообразить!

Вывалинный в собственной блевотине, весь исцарапанный, окровавленный, он продирался куда-то, на что-то надеясь.

Кругом кишела жизнь. Вились москиты, гудели мухи. Попискивали маленькие птички, перепархивали среди ветвей усыпанных длинными белыми колючками. Пробежало что-то похожее на большую крысу, волоча за собой нечто вроде змеи, или скорее, зеленоватой кишки, сплошь облепленное песком.

Кусты вдруг расступились. Впереди была открытая полоса земли, заваленная мусором. Среди куч неспешно брела скелетообразная собака. Чуть подальше что-то горело, валил оттуда бурый дым, ветер относил его в сторону, туда, где, уходя к горизонту, сверкало ослепительное зеркало.

Он дополз, добежал, колени подогнулись, холод вышиб из него дух. Вцепившись пальцами в жидкую грязь, напрягшись всем телом, стал изо всех сил втягивать в себя воду.

Время застыло. Застыли на горизонте баржа с буксиром. Зависли над ними белокрылые птицы. Он сидел у самого берега, не в силах пошевелиться. Вода была теплой. В голове больше не бухало, блаженная пустота наполнила ее до самых краев. Пустота эта посверкивала, кудря-

вилась небольшими волнами. Раздутый беловатый шар с четырьмя антенноподобными выступами медленно вплыл туда. Шар, мокрый и грязный, чуть развернулся. По его поверхности все время что-то переползало, извивалось, вокруг всплывали серые пузыри...

Глухая тревога шевельнулась внутри. Изо всех сил попытался понять, что происходит. О, вовсе не антенны! Черные раздвоенные детали на концах были коровьими копытами.

Лежа на песке, среди мусорных куч, он постепенно приходил в себя. Блаженная анестезия безмыслия ушла. Возникла абсолютная ясность: выпитая в большом количестве вода лишь отсрочила неизбежное. Трупные яды, смертоносные бактерии, вирусы, штаммы. Те самые, о которых предупреждали разные службы накануне поездки. Он вспомнил, брошюру, которую потом перечитывал в самолете. Врач, помнится, улыбался, но сейчас, когда полупрозрачный призрак кабинета, с застеленной бумажной простыней кушеткой расплывался на фоне реки, эта улыбка выглядела тревожной.

Какие могут существовать средства на случай питья из Ганга? Ведь может, это и не Ганг, а что-нибудь похуже. Есть такие прививки, – их делают военным служащим специальных подразделений, но стоимость без сомнения слишком высока, и больничная касса... Он не привит! Он абсолютно незащищен, не огражден, весь исцарапан, искусан москитами, слепнями, бог еще знает, чем, и сейчас в его желудке уже идет бурное размножение смертельных микроорганизмов. Они заполнят кишки. Живот вздуется, начнутся понос и рвота. Он издохнет тут, на песке, незримый никому. Труп его будет разлагаться, прилетят вон те черные птицы и станут долбить клювами... Приползет страшное существо, похожее на крысу...

Он заплакал – тихо и беспомощно. Вспомнил сумочку с салфеточками для протирания рук, специальный спрей для той же цели, желтые «желудочные» таблетки в пакетике, – все, что осталось в автобусе – в черной напоясной сумочке, вместе с документами и четырьмя дисками психоделической музыки, подаренными Куику перед самым отъездом. Он отдал бы все, все на свете, – если бы только закрыть глаза и вдруг очутиться на ласковом, добром сидении, таком щадящем, таком человечном... Он бы дал тогда клятву никогда не... нет, клятву всегда делать то, что...

Что именно он стал бы делать? Но ответа на этот вопрос так и не нашел. Увидел лишь лицо Куику, – в тот момент, когда она передала ему коробочку с дисками.

День он провел в тени колючих зарослей. Жара заметно спала, поднялся ветер, достаточно было сходить к реке и окунуться, как начинало знобить. Страшно ослаб от голода и мучительных размышлений. В конце концов не заметил, как заснул.

На другое утро почувствовал себя значительно лучше. Голод усилился, его еще покачивало, язык и вовсе не поворачивался. Но мысли больше не тревожили. Вяло подумал, что надо немедленно, срочно, предпринять что-то, но вместо того лишь заплакал беззвучно, бессильно. Так, плача, и двинулся вдоль берега, сам не зная куда. Он уже не думал о Каспере, о водиле с дружкой, – ищут его, или нет. Позабыл, словно их никогда и не было на свете.

Слезы текли непрерывно. Сперва он стирал их тыльной стороной ладони, но скоро перестал. Ветер нес вдоль берега клубы дыма и легчайшую желто-серую пыль, сдувал ее с огромных куч, наваленных повсюду. Из песка торчали полусгоревшие куски дерева, поодаль дотлевал вчерашний костер, а около него, по-прежнему неподвижно, сидел тот, голый.

Заметил его еще вечером, у подернутых пеплом углей. Утром увидел там же. Ветер шевелил черноватое тряпье, на котором тот сидел. Пыль густо усыпала волосы, скопилась в ключичных ямках. Припорошенные веки казались глазами каменного истукана.

Равнодушие овладело им. Временами, прислушиваясь к желудку, – бурчанию, спазмам, – впадал в панику. Постепенно легчайшие ощущения стали казаться острой болью. И при этом тяжкими волнами накатывал голод. Скручивало внутренности, голова кружилась. К вечеру он не мог уже думать ни о чем, кроме еды.

За причаленными к берегу лодками три-четыре собаки наблюдали, как белая корова с искривленным рогом поедает из кучи гнилые фрукты. Одна из собак, белая в черных крапинах, вдруг завертелась волчком, вцепившись в собственную ляжку.

Снова свело желудок. Обессиленный, он повалился на песок, и на четвереньках пополз к корове. Животное заволновалось. Издав краткое мычание, сделало угрожающее движение головой. Но он дополз, под самым ее носом выгреб из кучи несколько почернелых манго. Он ел, а вокруг стояли скелетообразные собаки. Стер слезы, и, сделав над собой усилие, кинул половинку последнего плода рябому, в черную крапинку, псу.

Потом встал и снова двинулся вдоль берега, туда, где дымили костры.

Скоро до него дошло, в чем дело. И все же он замер, когда увидел человеческие ноги, торчащие из огня. Мучительная отрыжка сотрясла все его тело и с шумом вырвалась наружу. Долго стоял, не смея шевельнуться. Люди вокруг тихо переговаривались. Один из них поднял длинный обгорелый шест и стал что-то поправлять. Какой-то мужчина сидел на песке и монотонным речитативом выкликал одно и то же бесконечно длинное слово. Рядом играли дети. Что-то лепили, выкапывали, толкались и смеялись. Женщины прикрывали лица, пытались встать спиной к ветру.

Дым накатывался жаркими волнами, но он уже привык к вони, перестал замечать ее. Слезы больше не тревожили, – тихо сочились из глаз. Он ощупал бок, царапнул пальцами, взглянул и обнаружил, что сплошь, с головы до ног, облеплен чем-то желтым.

Только теперь уже знал – это пепел.

Огляделся вокруг. Пологие дюны, наносы, длинными косами уходившие в реку, земля, на которой он сидел, пыль, которую гнал и гнал ветер, вода, с плывущими по ней кусочками черного угля, с длинными полосами мути, густой тяжкий воздух, – все было одного цвета...

Он зачерпнул горсть и увидел – среди тускло поблескивающих песчинок куда больше того самого серо-желтого, что когда-то, как и он сам бродило по берегу и пило воду из реки.

Покойники плыли над головами, раскачивались на своих носилках в такт шагам. Там и сям виднелись заранее подготовленные уложенные кучами дрова. Вокруг стояли, сидели, лежали, бродили, галдели, распевали гимны, что-то жевали... В ослепительно-оранжевой одежде браминов, в невообразимых лохмотьях, в джинсах, в повязанных на бедрах тряпках, в непромокаемых куртках, надетых на голое тело, в белых дхоти, и в том, чему, названья он не знал, и попросту без ничего.

Иные были покрыты язвами, иные имели искривленные конечности, иные на костылях. И все омывались в реке, и пили из нее. Многие имели вид клошаров. Они слонялись по берегу, тыкая палками в мусор, и казалось, выуживали оттуда что-то. Какой-то черный огненноглазый мужик, сыпал в реку золу из большой корзины, потом весело бежал к догоревшему уже костру и там снова насыпал, загребая руками. Другой деловито искал в голове у своего соседа, величавого белобородого старика.

Банда попрошаек обитала тут же. Завидя его, не проявили никакой враждебности, даже интереса... Они собирались к вечеру, варили что-то в большом жестяном чайнике. Оттуда несло сытным парком. Его потянуло к их живому костру, но подойти так и не решился.

Ночью собаки прибывались к людям, образуя один теплый тихо сопящий ком.

И никто из тех, кого он видел, даже больной, доходивший в тенёчке под бортом причаленного к берегу судна, не подавал никаких признаков паники. Мухи облепили остатки какой-то еды, что помещались рядом на куске газеты, садились на его серое влажное лицо, заползали в открытый рот, а он лишь мелко дрожал и вздыхал.

Мучительны были пробуждения. В эти мгновенья он ненавидел дневной свет. Обхватив голову, старался спрятаться в собственные руки. Сознание отказывалось принимать окружающее. Какое-то время лежал, набираясь сил, а когда наконец открывал глаза ему казалось, что он – единственный ребенок на планете взрослых.

Желудок между тем работал исправно. И это было непостижимо – ведь он почти ничего не ел! Опухоль во рту стала спадать, хотя язык болел непрерывно.

Голой как-то раз поутру вдруг ожил, медленно потянулся, руками расцепил переплетенные ноги. Встал, отряхнул пыль. Вытащил из песка какую-то желтоватую костяную плоскую и пошел к берегу. Там он долго мылся и выпил воды, зачерпнув своей странной посудинкой.

Лежа на песке и глядя на голого, он подумал, что видимо, перепугался зря.

«Хелп ми! Ай эм туэрист!» – через пару дней можно попытаться, отыскать полицейского, – должны же они где-то быть...

Словно в бреду, двигался он вдоль берега, без чувств, без мыслей – одна лишь саднящая, обожженная солнцем кожа, да ноющий желудок. Но что-то, неизвестное до того, проснулось вдруг, зажило в нем какой-то отдельной, совершенно самостоятельной жизнью. Цепкое внимание схватывало мгновенно: плывет по воде, валяется на песке, вон там собаки раскапывают, – съедобное!

Никак не мог заснуть. Этой ночью жутко кусались москиты. Казалось, в кожу втыкают окурки. Встал и пошел к воде. Искупался. Потом долго смотрел на воду.

Чадно мерцали костры, их отсветы тянулись вверх по реке, и эта цепочка казалась бесконечной.

Долетало издали гудение грузовиков, кричали неведомые ночные птицы, потом кто-то врубил музыку и стал подпевать диким сорванным голосом...

Он больше не боялся умереть, как в начале, на песке, от желудочно-кишечных инфекций, о которых рассказывали в больничной кассе. Другая, куда более жуткая перспектива разверзлась перед ним, – остаться навсегда тут, в этой стране, в этой неведомой и невообразимой жизни.

Он уже смутно догадывался, что если даже чудом вернется к себе, в свой магазин, в свою квартиру, все останется таким, как сейчас: едва слышное биение сердца, да вереница тусклых огней, уходящая в темноту.

На шестой день, купаясь, он заметил плывущую по воде длинную гирлянду желто-оранжевых цветов, выловил и нацепил на шею – в три оборота. На гирлянде увидел червяка. Тот, держась четырьмя задними лапками, изгибался крутой дугой, потом рывком распрямился и хватался двумя передними, а потом, снова сгибаясь, подтягивал зад. Затем процесс возобновлялся. Червяк был здоровенный, примерно, в палец длиной. Он не стал снимать его.

А в полдень явились они, – небольшая группа, в сопровождении гида-индуса. Один, худощавый мускулистый очкарик, не замолкая, бубнил что-то и непрерывно шелкал камерой. С ним была тощая, спортивного вида девица в сверкающих черных леггинсах.

«Смотри, смотри! – зашептал ей очкарик, – настоящий садху... он тут медитирует... Знаешь, им, этим, которые тут, можно все есть, и вообще все, понимаешь? И даже алкоголь!»

То были соотечественники. Они говорили на том самом языке, какой он слышал двенадцать дней назад, когда экипаж прощался с пассажирами, у них были такие доброжелательные, будто давным-давно знакомые, лица.

В одно мгновение он позабыл все. Глаза его увлажнились слезами радости, уже уперся было руками в землю, привстал... Но не сдвинулся с места.

В каком-то оцепенении сидел на песке глядя, как они переговариваясь и фотографируя на ходу, медленно удаляются. Наконец заурчал мотор.

Поднялся и побрел к реке. Долго стоял, глядя на медленно уплывающий к горизонту сор, сцепив перед грудью руки.

– Я бельгиец! – шептал он, прислушиваясь, – я бельгиец... мне нужна помощь, не могли бы вы... Не могли...

Слова звучали вполне отчетливо.

Через некоторое время увидел собак. Неспешной рысцой они двигались вдоль кромки воды.

Рябой пес вдруг обернулся и вильнул хвостом.

Освобождение

В такое место хорошо привезти стукача и вышибить ему мозги из обреза охотничьего ружья. Труп можно не закапывать – в пять утра заревут бульдозеры и обрушат вниз тонны ломаных бетонных панелей, битого кирпича, стеклоблоков, скрученной арматуры и старых автомобилей. Все это повезут сюда двадцать четыре двенадцатитонных муниципальных самосвала, а мы с моим сменщиком круглосуточно будем сторожить-охранять, чтобы, не дай бог, чего не унесли...

Седой кабан⁴ Моти Вайс получит от муниципалитета 21 шекель за час. Семь возьмет себе, семь отдаст чиновнику, который ему помог, и семь – нам с Ибрагимом. Пять раз в день Ибрагим встанет коленями на коврик и возблагодарит Аллаха за свои три с половиной. Это хорошие деньги – почти полтора доллара! Можно купить сандвич с туной, хумусом и соленым огурцом. Можно купить порцию фалафеля и брать к нему из тарелочек сколько съешь жареного перца, чипсов, маслин и прочей сжигающей внутренности закуски – если ты не мудака и заранее набрал в туалете бутылку воды. Иначе придется взять четвертушку минералки – еще три пятьдесят!

Квартиры у меня не было – зачем она, когда можно ночевать на работе. В чудном железном контейнере: койка, стол-стул, табурет. Посуда есть, вода подведена – кран приделан почему-то снаружи, а если его отцепить и пластмассовый шланг прикрутить проволокой к навесу, то вот тебе душ! Отсутствие прочих удобств возмещалось избытком свободного места – горы мусора громоздились по краю ущелья на сотни метров вокруг, и никто не препятствовал отправлению естественных надобностей человеческих, в том числе и духовных – живи да радуйся! Но это – если ты умный человек, а я переживал. У меня распалась семья. Я не замечал ни крана, ни койки, ни того, что было тихо, и с шести часов, когда я заступал, ни одна живая душа даже не приближалась к свалке.

Я был идиот и, как положено, сидел на таблетках. Но все проходит – однажды таблетки кончились, и я не пошел за новыми. Мне было лень. Был чудный вечер. Жара уже спадала, я вымылся под краном, сел в тени и вдруг увидел, что все хорошо. Я встал и решил пройтись. Походил туда- сюда меж горами ржавых автомобилей, посидел в одном из них. Но хотелось движения! Я решил спуститься в ущелье. С двух сторон нависали отвесные скалы, а между ними прямо из-под ног уходил крутой отвал, из которого во все стороны торчали балки, трубы, да громоздились торосы бетона. На меня нашел приступ безумия – видимо, полностью прекратилось благотворное действие таблеток, и я двинулся к краю.

Еще не осела пыль утренних обвалов. Пласты мусора сползали и оседали под ногами, все шевелилось и дышало, опасно кренилось и вдруг обрушивалось, а я все шел и шел. Мне почему-то казалось, что, вернувшись, я признаю свое поражение, и тогда мне станет совсем невмоготу. Типичные мысли невротика, но где взять другие?

Я оказался там, где еще не ступала нога человека. Вокруг клубилась пыль, заходящее солнце окрасило ее в дикий оранжевый цвет. Наконец, потревоженная мною осыпь сдвинулась и поехала вниз, я побежал в сторону уже не выбирая дороги, и вовремя: мимо пронеслось несколько крупных обломков и начался настоящий обвал. Пыльное облако накрыло меня, а вокруг слышались жуткие звуки – свист, шуршание и грохот, что-то осыпалось, гремело и гулко бухало, катилось, а потом снизу доносились тяжелые удары...

Все это длилось достаточно долго, а когда стало тихо, я услышал нечто и вовсе невообразимое – какие-то стоны или вздохи, вполне, казалось, биологического происхождения. И тут мне пришла в голову первая здравая мысль: о том, что ущелье, может статься, на деле куда

⁴ Кабан (ивр.) – подрядчик.

глубже, чем казалось сверху, и, возможно, мусора там еще не так много, и внизу, куда я направил свои суицидальные, в сущности, шаги, вполне может быть обрыв. Я двинулся дальше вниз. Меньше всего мне хотелось возвращаться – к своей койке и крану, к битому стеклу, которое перекачивалось у меня под ребрами при каждом вздохе и другим удивительным эффектам, которые рождает мысль о том, что твоя жена сошла с ума и теперь люто ненавидит все, что было в течение одиннадцати лет счастливой, казалось теперь, жизни.

В какой-то момент я присел, чтобы вытряхнуть из ботинок набившиеся туда обломки цемента. Под ногами оказалась изуродованная белая дверь, и вдруг до меня дошло, что мне самое место здесь, в этом чудовищном могильнике порушенного жилья, что эту дверь когда-то открывали, входя в дом, что все эти изуродованные обломки – чьи-то стены, полы, балконы, что косо торчащую из гравия кафельную плитку протирали тряпкой. . . Я машинально дотронулся до нее и увидел, что она вовсе не серая, а наивного голубого цвета.

Солнце садилось. Я пересек границу тени, рыжее облако относилось кверху, скоро стали различимы скальные зубцы, торчащие из мусора, на них каким-то чудом сохранилась трава. Я обнаружил источник неведомых звуков – то был зажатый обломками лист жести. Временами, колеблемый ветром, он издавал мучительный долгий стон. Через какое-то время я оказался на дне. Тут тихо струился зловонный ручеек, а вокруг него из растрескавшегося ила торчало несколько темно-зеленых кустиков.

В это время наверху заскрежетало, в воздухе над моей головой пронеслась железная бочка и с надсадным хлопаньем погрузилась в жижу. Размазывая по лицу брызги, я долго еще смотрел, как вода заполняет яму вокруг ржавых обводов.

Немало ее утекло с тех пор! Свалка давно заброшена, дно ущелья заросло зеленым камышом. Моя жена вышла замуж и уехала в другую страну. Дети редко навещают меня – им некогда.

Только я уже не нахожу в этом никакой трагедии: лишь обычные обстоятельства обычной жизни.

Протокол

– Шас их кругом полно! Трусами тучи разгоняют!
– Ага, полно... Появились.
– Как перестройку сделали, так они и полезли. А при советах это дело не одобрялось, я вам скажу.
– Именно! Возникли, так сказать, самопроизвольно, в постперестроечный период. Ты вот, молодой, лет сорок есть?
– Сорок второй пошел!
– Я ж говорю – пацан! Ты тогда еще сисю сосал. А люди помнят...

– Вот надо тебе... Всегда ты с этим.
– Да, с этим... А молодежь пусть закусывает... а то несут всякую херню. Правильно я говорю? А? Але! Не спи – замерзнешь!

– Как не помнить, никогда б не поверил, что такое своими собственными глазами увижу. Огонь до неба. Все свои, а никого не узнаю. Не люди! Глаза повылазили, зубы клацают. Не бегут – летят над землей. Ногами только по воздуху перебирают. А ноги те – деревянные. Сам танцую, дергается всё... И ни с места. Аж пока волосы не занялись от жара.

– Я, когда еще пацаном был, кошечку повесил... Если честно, все это делают. Не кошку, так муху, или еще что. Это каждый о себе знает, что и как он замучил. Это у людей в таком подростковом возрасте, только потом не хотят вспоминать. Но, по-умному, так надо бы помнить... А то заносятся, куда там! Такой сукин сын, а глядит как Папа Римский. Кошечка беленькая... А ухо и лапка черные. У меня брат был... погиб в армии. Обварило его там как-то. Да разве ж они правду скажут! Привезли в цинковом гробу, и набрехали, как говорится, с три короба... Так это мы с ним, когда малые были такое сделали. А зачем – не знаю.

– Уже не молодая. Лет так сорок-пятьдесят. В теле. Говорят, у этих, которые того, глаза особенные. Черные или колючие, или взгляд тяжелый, но у этой ничего особенного. Карие были. И сама ничего. И спереди и сзади. Было за что взяться. Одному таки кулаком заехала по челюсти. И не по-бабьи, а на самом деле – опухло все, дней пять жевать не мог.

А может и моложе – кто его знает! Паспорта не предъявляла. Сама не здешняя, короче, неизвестно. Черт их разберет – от настроения у них зависит. Бывает, вроде лет двадцать и ничего себе, но кислая. А другая двух мужей схоронила, а стреляет. В смысле – глазами.

Короче, так... Ты слушай, слушай! Не спи! Жил у нас Валентин, молодой мужик. Женился и детей двое. Работал на ферме. Туда возили на бортовой машине. И там, в кузове, одна увидела, что эта Феодора, про которую я рассказываю, будто на него глаз положила. Вообще, имя такое: Федора, а эта, замечай, Феодора!

И эта, которая увидела, другим сказала. Просто так, низачем. Как оно у баб водится – бла-бла...

И вот это бла-бла: четыре трупа! Пошло-поехало: «глаза бесстыжие» и «как она, сука старая, на молодого лезет».

А почему умирают тяжело, то понятно. Все ходят у церкву... Ну, сейчас мало кто, хотя больше чем раньше, но как бы сказать – который нечистым делом занимается, тот сам по себе. И ему тяжело. Потому что он знает насчет Иисуса Христа и все такое, а у него как бы другое знание, и он один против всех. И идет раздвоение. А это вообще-то уже дурдом. Хоть многие из них и лечат молитвами, и иконы, и крестятся, и всё...

В общем, все как сказались. Сперва бабы. Может, какая на него сама запала... У него и жена красивая была. И на конкурсы ездила, пела. Народные и композиторов: «Мисяць на неби» и так далее.

Короче, всякую гадость про эту Феодору начали. У той корова, у той в животе... Извините, на которую срачка напала, – так это она!

Потом хуже – приворот-отворот! От жены к той.

– Старая манда кричит: крышу подымите! Душа выйти не може! Окна – кричит – пооткрывайте! А все заперто. Так схватили кол, и все вышибли: ставни, раму. И давай ломать что попало. А потом за крышу уже взялись. Под сволок⁵ подводи! – орали, а какой там сволок. Мазанка кирпичом обложена, под толем, вся перестроена на дом. Мозгов нет, – уперли куда-то, поджали снизу, затрещало, часть крыши вверх выперло, кол этот выскочил и назад – кому-то по балде, но не так чтобы... и эти козлы попадали в разные стороны. И тут же как бахнет! Жуть! Из дыры той, из крыши, огненный хвост – в небо! И сразу все в огне! Крик такой, что... Все в разные стороны... И по двору кто-то... Одежда на нем горит, как скаженный крутится, потом упал – и по земле, по земле... а чем его гасить?

Мотрин Микола то был... Тракторист. В больнице умер, через неделю. Царствие небесное...

– Брехали потом, – первак у нее в сенях загорелся! Будто она продавала, кому надо... Но я думаю – бензин. На бензин похоже. Бензином тогда многие торговали. Ну, в сени народу набилось, двери в зало ломали. Ну, кто-нибудь с сигаркой... опрокинули, значит, ну и...

– Между прочим, от «сигарки» вашей, бензин, а тем более самогон не загорится. Тем более в такую погоду. Октябрь, извините... И лет ей было 36 и семь месяцев. Мистики, разумеется, никакой. Бензин – определенно. И все же... Как это так сразу все занялось? Так что сами разумеете...

Никакой нечисти. Тут дела человечьи. Обычный поджег. И, знаете, довольно грамотно, на чердаке плеснули в обязательном порядке... Лесенка там у нее была приставная, у задней стены. Но многое абсолютно непонятно. Как Пинчук этот с женой там оказались? Давайте это, за упокой... Чокаться нельзя!

– Воскресенье как раз... С утра опохмелились, а кому нечем – головка бо-бо... Как два выходных подряд сделали, в субботу и начинают. И все на улицу. А тут такой спектакль!

– Да. Можно, конечно, многое себе представить. Реконструировать события, так сказать. Например, Пинчук кинулся в хату, спасать. А жена за ним. Все три трупа обнаружены в непосредственной близости один от другого, в углу, рядом с кроватью. Такое впечатление, что тащили они её, или, еще вернее, тащил Пинчук, а жена, как бы помягче выразиться, вцепилась в него, то ли оторвать от неё хотела, то ли его спасала. Это значит, он дверь и выбил.

– Подожди, я еще скажу вам! Я скажу... Я с Пинчуком с детства... в одну школу ходили. Мы с ним... жалко, он такой был... Не как все. Он на себя хотел взять, когда еще покража была в сельпо, когда мы с армии поприходили. А он сказал: Ты на киче не выдержишь! Но потом замяли все. И с ней, клянусь, у них ничего не было. Не вышло. Как? А так... Они с ней сходились – это было. У него сердце... Не мог никого обижать. До четырех раз встречались – разговоры всякие, плакали даже. И, не знаю, как, в последний раз он решился, но не смог...

⁵ Сволок – подпотолочная балка в украинской хате, опора крыши.

Обнял ее и это... кончил тут же. Никогда, говорит, не бывало. А тут как-то само... Такая у нее сила была... ведьмовская или еще какая.

– Я бы сказал – женская. Но из вашего рассказа многое выясняется. О Пинчуке, в частности. Какой он человек был. Вполне можно представить, что и в огне... Давайте еще раз... За упокой.

Меня тогда в понятия нарядили. Учитель – грамотный человек! Наливай, наливай... не тяни.

Да. Стены поверху черные, страшные, а над самым полом полоса – красивой красной краской, и разрисовано, цветы, птицы такие, ну, как в старину. Пинчук с женой черные, обугленные, а она почти не обгорела, сорочка только... Лицо белое как мел. Глаза как живые... нет, не могу.

Я, однажды, к ней заходил по делу, перепись была. И, конечно, меня, – кого ж еще, назначили. И так у нее чудно было, солнечно, и цветы эти... Запах хороший, травы у нее там сушатся. Сказала – лечебные. Я еще хотел, чтоб ученикам показать эту хату, – народное искусство. А она ни в какую. Стояла напротив окна, и знаете этак, волосы ей насквозь просветило, сияет, вся в золоте.

– А я – хотите верьте, хотите нет – кошечку ту белую увидел! Будто она из-под хаты выскочила и через двор ко мне пробежала. И нету, как не было. А говорят, если ведьма, кошки черные бегут. А насчет лица – извините! Обижать не хочу, я тоже видел – в окно! Стены – да! Не тронуло понизу. Но по полу одни головешки, балки сгоревшие, ни стола, ни чего, кое-где прогорело насквозь, ямы... когда кирпичом мазанку ту обкладывали, пол земляной досками зашили. К углу ближе, где кровать, три трупа – и не понять, что люди. Да сами подумайте – при таком огне! Простите, если что не так сказал.

– Меня тоже в понятия хотели привлечь. Привлекли за неявку. А потом уже за разглашение. Ну, вы знаете... там и с милиции, и инспектора, и все... Дымок вонючий, такой желтый почему-то, и банки у нее стояли, с маринадом или засол, огурцы с помидорами, – так не сгорело. И на припечке чайник стоит, неповрежденный. Проводку искали. Проводка-то есть, только она каганца у себя жгла, электричество не признавала. Понятно – керосин. Смотрят, а в счетчике пробок нет. Какое тут замыкание! Чтоб они все сгорели...

Тушили своими силами. Наши, и рабочие набежали с УТо. Ставок рядом... Хата на отшибе, так ничего, только сарай сгорел – ничей. Зброшенный, то есть. А так, конечно, жалко. Люди. И куры у нее были, поразбирали по соседям. У нее ж родичей никого. Степень захламленности определили, как вторую-четвертую, козлы. Эксперты хуевы. Нажрались и уехали в своем «газоне». Классная машина. Я в армии командира возил, знаю.

– Так, валите отсюда! Закрыт кабачок! Трындят час целый – и нечего путного. Трупы считают, курей... Давай- давай, подъем! Убыли нахер! И нечего часы показывать, сказала – закрыто! Вы ж до утра не разберетесь. Вы ж не про то. Вы каждый про свое. А если б у меня такой муж, так я бы ноги мыла, и ту воду пила...

Она не ценила. Я ее знаю. Таким главное не муж, а семья. В семью, в дом. Квочка... Хотя жили чисто – раз. Дети ухоженные – два. Она следила... Сама и он, всегда костюмы, рубашки и все глаженое. С детьми занималась... Обязанности свои исполняла – никто ничего не скажет. А вот он раз сюда приходит... Что-что? А ты козел – видел? Да, не пил, все знали, слово с него взято было еще перед свадьбой. Сказал – и не пил. Рюмку в праздник.

И все открыл мне! Почему? Ну не вам же! Выпил и рассказал! Он до армии пил. Отвык. И как начал, понесло его... Бутылку одну – и все рассказал. Я уже уходила, пол замыла, ведро вынесла, захожу – сидит. Я глазам не верю. И все с самого начала, с того лета и до этого, целый

год, как у них было. Говорит: люблю ее! Кого? Вам при тупости вашей мужеской не понять. Вот-вот – жену! Как же! А хрена лысого? Ничего не скажу! С вами говорить все равно, что до стенки! За что любил? Я ж говорю – мудаки. Как мой. Земля ему пухом. Давай-давай... полный!

– Ее мне не жалко. Вот не жалко и все! Имущество свое спасти кинулась – мужа дорогого. А Мотрин, тот сам дурак, во все дырки затычка. В сени он полез... Куда все – туда и он. У нее самогону с роду не было. Кому же знать, как не мне. Ее все сторонились. Так она и сама ни к кому не тянулась. Как она заперлась, все испугались почему-то. А касалось их? Ихнее то было дело? Человек три, четыре дня, с дому не выходит, двери-окна наглухо, ставни, – так ты постучись, вызывай скорую, ментов! А они шу-шу: ведьма помирает – помереть не может! Где я была? Где ты не будешь! Я скажу, скажу, – не забоюсь. Вы и так знаете. На аборте. От кого? Не твое собачье дело. Потому что все вы – кобели! Погань такая... Наливай!

Я цветы принесла, и на могилы, и в церкви службу заказала, чтоб поминали. И где они лежали, там, в доме, тоже цветы поставила. И видно было, – на полу следы: будто он руками тянется, а эта в него вцепилась, к Феодоре не пускает. Я ближе – а там один пепел.

– Ага, следы... Держи карман! Там человек восемь топтались, писали. Потом нажрались и уехали в своем газоне. Классная машина, я вам скажу...

– Ну, все, поговорили. Валите. Я закрывать буду. Завтра выходной, с утра приду – уберу. Давай-давай! По домам!

– Прикурить дай!

– Прикуришь тут, ветер какой!

– У нас один пред... кооператива возил, так он рассказывал: еду, говорит, остановился за этим делом. Ну, застегнулся, оборачиваюсь – баба стоит. Откуда взялась? Подвези, говорит. Ну сели, – не заводится, или педаль заело. А она сидит, как каменная, вперед себя смотрит, и ни слова. Короче, ничего не выходит, она вроде ушла. Он туда- сюда – умер движок! Вышел, а тут опять она. И опять – подвези! Ну, он на нее попер, а она говорит: «Чем матюгаться, попробуй еще раз!» Сели – и тут же завелось. Скажешь не ведьма?

– Сказать нечего... Жить как-то надо.

– Темно, как в жопе! Я пойду, в общаге переночую.

– Не дойдешь.

– Я по соше. Там асфальт – не собьюсь. Я ногой чувствую...

Незнакомка

Помню, за неимением другого чтения, раскрывал наугад «Музыкальные этюды» Соллертинского, с наслаждением фантазируя вокруг неизвестного: «...поразительных эффектов Мейербер достигает с помощью группы медных инструментов – достаточно вспомнить «освящение мечей» в «Гугенотах» или коронационный марш из «Пророка». «Группа медных мечей!» – шептал я, – «гугенация пророка!»

Это замечательное сочинение, в числе подобных прочих, вывезла сюда моя музыкально одаренная мать. Толстенный коричневый томик с черными тиснеными буквами на кожистой обложке скрашивал мои первые дни. Вскоре появились новые материнские увлечения – в тонких бумажных переплетах, с мельтешащими по страницам «аа». По ним я учился языку, и несколько увлекся всеми этими, как бы в звуках существующими, Лоэнгринами и Аидами, Судьбами и Смертями. В какой-то мере они заменили мне сказки моего бессказочного детства.

Сейчас только вдруг вспомнилось, и неотвязно почему-то.

До чего же бледна здешняя весна! Набрякшее серое небо струится по улицам, едва виден угол дома, кирпичи сочатся влагой, по фетровой шляпе веско щелкают капли, и глаза никак не «навести на резкость».

Из тумана выплывают небритые физиономии. Голландские «херры» взяли такую моду – бриться триммером, задающим параметры будущей лжемужественности. Эдакая суровая деталь на оплывших мучнистых лицах бывших Тилей.

Тихо и немного пресно.

Зато по-прежнему прекрасна вермееровская природа – величественная в своей безыскусности. Бледно-желтые прутики на сереньком небе, стеклянистый заливчик в ивах и камышах, строжайших форм буро-кирпичная кирха на заднем плане...

Толпа плывет вдоль улиц, туристы жуют и рассматривают, по спецдорожке едет ловкая старуха на полумотороллере. Под землей, в рекламостенных тоннелях, пузырится жизнь: афганцы курят что-то дымно-зеленое, прекрасно одетые люди спят на листах картона, едят из бумажных коробок какие-то треугольники, или пьют «Red bull». Рядом сидит ухоженная бельгийская овчарка, или даже жирноватый ротвейлер да стоит аккуратная жестяночка для сбора подаяний.

Унылые заболевания искусств дают своеобразные метастазы: на невысоком табурете, притворившемся серебряным кубом, поместил себя серебряный человек с серебряным саксофоном. Эффект получен с помощью небольшого количества алюминиевой пасты, смешанной с вазелином. Временами, обратившись в статую, он будто ждет чего-то и вдруг выдает буйно-летучую трель. Шарахнувшиеся было прохожие иногда что-то сыплют ему в серебряный же цилиндр. А затем все это *da capo*⁶.

Изумительное звукоизвлечение! Уж не в здешней ли консерватории учился? Впрочем, выдуваемое все же вполне серебристо...

На условном краю бескрайнего во всё побережье города, среди навечно перепутанных дамб, мостов и каналов туман висит меж черных ветвей. Все тускло, уныло... Света, которого и так не додано этой стране, так мало, что кажется вот-вот зажгут фонари. Белесая взвесь, поглощая звуки, отделяет тебя от всех и всего... Полутьма в тишине, иллюзия безопасности. Немного по-страусиному. И все же я радостно принимаю это. Что бывает не так уж часто. Тут, где я любил бродить в юности, тут... Что, что тут? Видимо, ничего, кроме памяти.

⁶ *Da capo* – с начала.

На якобы пригретом невидимым солнцем кусочке липкой земли сидит большая жаба, только-только проклюнувшаяся из болота, нежная и беспомощная. Нога вильнула, чуть не задев каблуком. Героическим усилием жаба проделывает ряд вялых шажков и замирает в блаженном доверии к миру. Студнеобразные ее пальчики облеплены песчинками. Жаба грациозно взлетает под крышку черепа и пытается ввести свою тему: весеннего пробуждения, нарождающейся любви, могучих оргий в темно-оливковой воде, метания хрусталистой черноглазой икры, но это как бы в далеком прошлом: когда я – печальный, бледный и худой...

Потеряно плывет над заболоченным леском fuga давних консерваторских воспоминаний, вся сотканная из тумана иного, не нами ли творимого, где невидимая и далекая покуда движется к дюно-сыпучим берегам ладья Харона.

Вопреки времени, отбирающему якобы лишь лучшее, учеба в консерватории почему-то вспоминается бесконечно-текучим лабиринтом длинных коридоров и тесных помещений, обитаемых популяцией потертых профессоров: человеко-роялей, муже-альтов, жено-виолончелей и педо-саксофонов. Увидев бредущего ученика, особь чуть приподымается, издает сиплый звук и, втащив к себе жертву, изысканно-бледно-сутулую, или полновато-рассыпчато-вялую, начинает что-то бубнить и наяривать. Слабополая же добыча, ядовито-знойно-рыжая, или мучнисто-очкастая, волочит монстрообразные черные футляры и трепыхающиеся, полуживые пачки нотных листов, которые тут же падают на пол, пугливо расплзаясь по углам, откуда их извлекает, прихотливо изгибаясь, будущая виртуоз.

Все вышеперечисленные звучат унылой полифонией перепутанных гетерогомосексуальных отношений.

Здесь-то и слышится впервые тема Героя.

Подающий большие надежды, трудно-талантливый, одновременно замкнутый и веселый юноша-подросток из европейского города, название которого могло бы когда-нибудь приобрести некоторый блеск благодаря имени великого музыканта.

Хороший и надежный товарищ. Временами даже друг. С налезающими друг на друга прыщами, безнадежно победившими любое сопротивление их вспученной власти.

Речитативом наши давно отзвучавшие диалоги:

- ...и подал заявку на конкурс принцессы Кристины!
- А она что, играла на чем-нибудь?

– Отнюдь нет. Верховая езда, парусный спорт. Её прапрадед, впрочем, лабал на скрипке, правда, успехом пользовался лишь у себя дома, в Эскуриале...

Поглощенный музыкой герой безуспешно (дважды!) пытается наладить свою интимную жизнь. Разумеется, совершенно невольно освятив эти попытки призраком пылкой и романтической влюбленности. Не найдя взаимности, запускает фонтан своей страсти вручную. *Allegro con brio!*⁷Каковые упражнения совпадают с разучиванием конкурсной программы. И в этой удивительной оркестровке вдруг находит ряд простых и гениальных ходов, вернувших судьбе ее подлинное лицо!

Перетрудил руки. Началось воспаление сухожилий. Неудивительно! Следствие – категорическое запрещение играть. Отставить травмирующую деятельность! К пианино не подходит!

⁷ *Allegro con brio* – весело, живо, с огнем.

Врач, посвященный исключительно в инструментальные тонкости проблемы, прописывает очень дорогой препарат. Боль исчезает, подвижность же пальцев и кисти остается прежней, – как и обещалось в напечатанной мельчайшим шрифтом подробнейшей инструкции.

Первая в цепи случайность, из которой родилось открытие: потерявшая чувствительность рука кажется чужой, даже совершенно незнакомой. Чьей-то! Чьей угодно. Таинственной дамы под вуалью, в шелковой перчатке тонкопалой. Лаково-фортепианной продавщицы белья с Маальстратен, зулусской нежной и сильной рукой... «Йа, йа, баас!» Анемичной бледнокожей – худышки-датчанки с водянистыми умирающими глазами. О, ее слабая беспомощная ручка! Все, все они! Гадкая итальяшка с первого курса! Ленивая еврейка-виолончелистка с похотливо выпученными очами, жирная декан, мелькнувшая велосипедистка, да кто ты только хочешь! Легкомысленно и с очаровательным юмором относится к своей слабости и делится открытием, назвав изобретенный метод в честь картины Крамского. Той самой «Незнакомки», где призрак счастья на мгновение открывает навстречу бездонные глаза – чтобы тут же навсегда исчезнуть в суете улиц. Мы смеемся.

Действие чудо-спрея рассчитано на 5–7 часов, так что остается масса времени. Не имея других занятий, изобретатель вращается по естественной орбите – общежитие-консерватория. Слоняется по коридорам, надоедает и мешает. Задевает товарищей и педагогов. Тоскливо балуется травкой и алкоголем. Часами томится в буфете. Забредает и в пустые учебные классы. Мучается запретной музыкой, страстью невыносимой и неотвратимой, несравнимой с той, зудливой и однообразной. И, увы, так немногим подвластной. Кто только не тукает, не звякает, извлекая нечто голое, одинокое, не дробит гаммы, пока наконец, понукаемый ближними, не раздражается тупейше надцатым Концертом Таковского, или прыгуче-похабной постмодернистской симфонией Сяковского, чтобы, в конце концов, с чувством глубочайшего унижения забросить все это к чертям собачьим. Этот бесталанен, тот бесхарактерен, а тот разбросан. Та просто дура с абсолютным слухом. Обучаются миллионы, постигают единицы. Прочие становятся профессорами, музыковедами, критиками. Лабухами. Серебряными человеками. Пропойцами, наркоманами. Сигают в окна. Вешаются, стреляются и травятся.

Кто же раскланивается, топорща фалды фрака?

Я?! Дирижирую... Иногда. И... – нет, еще «и», – пишу статьи, исследования. Печатаюсь в журналах. И в женских тоже (мысленный реверанс). Снова эта писанина. Герой, Судьба, Душа. И Смерть. Многоборческий квартет. Обязательно кто-нибудь да побеждает. Делайте ваши ставки!

Что там у нас? Кажется, уже часть вторая. Герой возвращается к инструменту еще до излечения. (Его тему ведет ф-но.) Ни на что не оглядываясь и ничего не боясь. Отчужденными руками, на все рукой махнув. И на конкурс тоже, – лишь бы не мучиться гулом и зудом в набухших кистях. Играет до изнеможения, до обморока.

– Шуман подвязывал один палец шнурком к потолку.

– Вот именно! Усложнение, отягощение, непреодолимое препятствие, раскрытие скрытых резервов.

– Шуман загубил руки.

– А я стану виртуозом!

– Пианизм! Рукоблудие по клавишам!

– Даосский метод сублимации энергии! Языческое действо! Наподобие древнего Анана, эякуляция в борозду на свежевспаханном поле!

И т. д.

Появляется Душа. (Первая скрипка.) Органмирует сквозь пальцы в древесно-бронзовые внутренности. Содрогаются деки, вибрируют натянутые сталистые нервы, запах пота прорастает сквозь вонь дезодорантов окончательно губя новый концертный костюм, едва зачатый прыщавый сопляк обретает могучую плоть, господствует над собой и черным драконом, оскалившим слоновозубую пасть, и – побочный резонанс чудовищной этой мистерии – публикум вдруг перестает покашливать и думать.

В заупокойном беззвучии тумана приоткрывается на пару долей сероватая гладь с чередой розовых поплавок и топористых очертаний лодкой. Ржавая стена тростника на дальнем берегу. Осклизлая скамья у самой воды на этом. Тянутся какие-то заколоченные на зиму строения, замусоренные листвой корты, истоптанный копытами манеж, ряд зачем-то вбитых в землю коротких обрубков, полупустая автостоянка... Потом появляется и вдруг исчезает насыпь с беззвучно летящими серебристыми вагонами, и всеобщая глухота накрывает мир. Угадываются по сторонам кучи мокрых кустов, сквозят воображаемые пустоши, а перед глазами все бежит земляная дорожка с нескончаемым велосипедно-виляющим оттиском, пахнет тухлым болотцем и прошлогодней прелью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.